



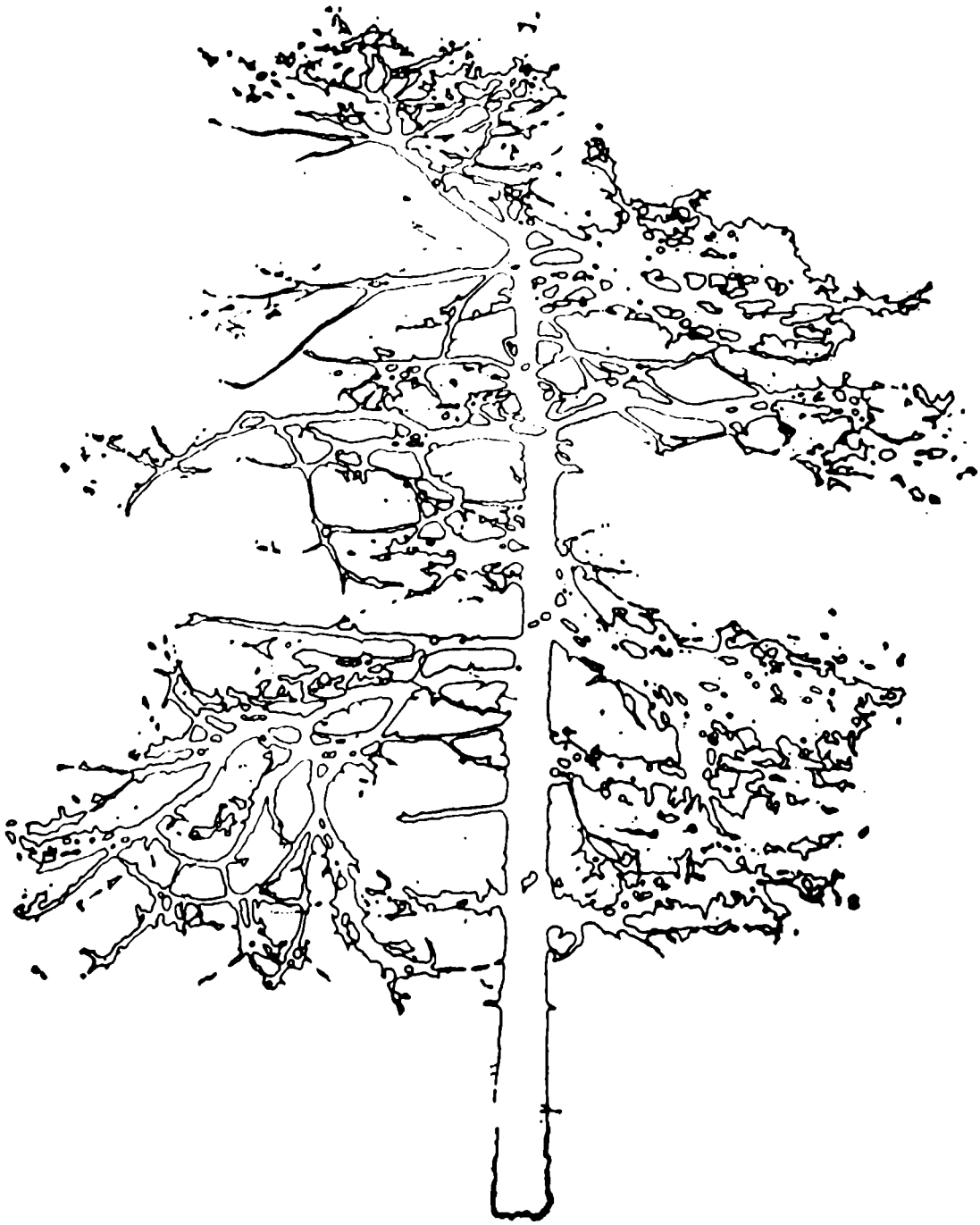
*Софрон Данилов*

**ЛИСТВЕННИЦА**



Софрон Данилов — один из ведущих писателей Якутии. В 1966 году «Советский писатель» выпустил книгу его рассказов. В настоящем сборнике представлены лучшие рассказы С. Данилова. Действие большинства из них происходит в наши дни. С большим знанием жизни, с психологической тонкостью создает писатель образы своих земляков — охотников, оленеводов, учителей, врачей, художников. Поэтично, с любовью описывает автор природу Севера — величественные просторы родного края, суровые зимы и стремительные весны.

В сборник включена повесть «В двух шагах от школы», посвященная молодежи. Героиня ее, девушка Туяра, вступает в борьбу со стяжательством и обманом и выходит из этой борьбы победительницей.



*Софрон Данилов*

# *ЛИСТВЕННИЦА*

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ

*Перевод с якутского  
Семена Виленского*

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА 1974

С (Як)  
Д 18

© Перевод на русский язык, издательство «Советский писатель», 1974 г. Повесть «В двух шагах от школы» и рассказ «А вот так!» опубликованы на русском языке до 27 мая 1973 г.

Д  $\frac{70303-194}{083(02)-74}$  193—74

*Рассказы*



## *Девочка смеется*

За тальниковым кустом на зеленой лужайке стоит девочка и смеется. Маленькая, темноволосая девочка в коротком платьице, босая, загорелая дочерна. Стоит и смеется, глядя на бабочку, в который уже раз опустившуюся на венчик огненно-красного цветка сарданы. Прозрачная бабочка, легкая, как пушок. Но стебелек цветка не выдерживает ее и начинает клониться вниз, и бабочка, чуть не коснувшись земли, шевелит крылышками, взлетает. А девочка смеется. И не похож этот смех ни на хрустальный звон сосулук, что, сорвавшись с юрты, разбиваются о весеннюю гололедь, ни на мелодичное треньканье оленьих колокольчиков, что доносится с окраины аласа<sup>1</sup>, когда после долгой разлуки возвращается любимый друг, ни на переливчатое журчанье ручья, бегущего по разноцветной гальке.

Нет, это, переливаясь на солнце, смеются под ветром травы, это смеется ветер, опьяненный запахом хвои, это земля смеется в светлом негаснущем небе, это смеется небо, расцвеченное лучами, это смеется лето, короткое наше лето. Девочка смеется.

---

<sup>1</sup> А л а с — долина среди тайги, поле или луг, окруженные лесом.

## Двое

Тундра!

— Вы были в тундре?

— Нет.

— Нет? Как же мне рассказать о ней, чтобы вы ее почувствовали, увидели? Я мог бы, конечно, назвать ее прекрасной, величественной, суровой. Бывает она и страшной...

В ясный весенний день небо над ней светло-голубое, чистое. Куда ни посмотришь — кругом снег, снег, снег. Белый, как лебединое крыло.

А на восходе огромного северного солнца снег сверкает, как драгоценные камни, переливается — изумрудный, лиловый, розовый.

Начинается день, и снег сияет, как небо.

Зимой, когда солнца нет, снег серый, словно дым, пепельный.

Тундра...

Куда ни глянешь — снег, снег, снег... Едешь на нарте день, едешь два, десять, двадцать дней, и нет ей конца и края. Едешь сегодня, как вчера, кругом — снег, снег, снег...

Снег и небо, небо и снег.

Словно нигде не шумит тайга, не светятся города, не встречаются люди.

Летящий ветер, восточный ветер... Поднимешь голову — снег, снег, а над ним тяжелые, наползающие друг на друга тучи...

Тундра...

Ветер уже начинал понемногу тормозить, расшевеливать снега.

— Хэй! — крикнул на своих оленей старый Тайбаас.

Головной олень рванулся вперед. Из-под копыт в нарту полетели комья снега.

Ветер все усиливался. И вот закрутилась, завертелась снежная пыль.

Небо исчезло.

А Тайбаас спокоен, он едет и поет свою песню:

«Слушай, тундра. Говорят, Тайбаасу шестьдесят лет. Верно, тундра, мне шестьдесят лет. Говорят, стар Тайбаас. Нет, я не стар, тундра».

Он поет и видит собрание колхозников, слышит, как предлагают молодому Эрбэхтэю соревноваться с ним. А Эрбэхтэй даже рукой махнул: как можно соревноваться со стариком? Ой как обиделся Тайбаас! Но смолчал. Хвастливый парень Эрбэхтэй, но из него выйдет хороший охотник. А пока пусть болтает. Совсем молодой парень. Стариком назвал! Какой же Тайбаас старик? Шестьдесят лет — это разве для охотника много? Вот только в начале зимы ему не повезло. А они думают, что Тайбаас уже не может промышлять. Ну, что же, пусть думают. Тайбаас им докажет. Ты ведь это знаешь, тундра...

Неба не видно, а Тайбаас едет, едет и поет.

Уже в нарте семь песцов — большие песцы, хорошие. Умеет ставить Тайбаас капканы. Ты шуми, тундра, всю ночь шуми. А потом хватит. Надо Тайбаасу другие капканы посмотреть, а то волки смотреть будут — от песцов только клочья останутся. Волков много стало, стрелять их надо, а в колхозе вертолета ждут, с вертолета стрелять хотят. Не летит вертолет. Раньше и так волков били, а теперь сидят сложа руки. Молодые, ленивые.

Тундра шумит.

Тайбаас едет и поет:

«Скоро охотничья избушка, тепло будет, чай будет. Шуми, тундра, ночь шуми, а потом хватит. Оленей жалко. Трое суток не ели досыта. Около избушки какой мох — всё поели, а далеко отпускать нельзя — волки».

Тайбаас не правит, не понукает оленей. Головной сам знает, куда ехать, сам путь выбирает. А вот второй олень совсем устал.

Шумит тундра...

Вдруг олени шарахнулись в сторону. Тайбаас чуть не вывалился из нарты. Чего они испугались? Волков почуяли? Впереди что-то чернело. Что это? Раньше здесь ничего не было. Нет, не волк. Голодный медведь из тайги вышел или олень заблудший?

Тайбаас остановил оленей, взял карабин. Ба! Это же избушка. Труба торчит. Удивительно. Кто мог построить? Место плохое, на самом ветру. Тайбаас подъехал еще ближе. Нет, это не избушка. Трактор! Откуда? Зачем он здесь? Тайбаас приподнял шапку, прислушался: не гудит, мотор не работает. Он объехал трактор, привстал, заглянул в кабину. Никого нет. В санях — бревна. Говорили, что рыбозавод строит дома для рыбаков в Кумахтаахе, около моря. Значит, эти бревна туда везли. А где же человек? Куда он мог уйти пешком? А это что?! Тай-

баас нагнулся, взял в руки обгоревшую тряпку. Видно, телогрейка сгорела.

Тайбаас влез в кабину. Там пахло гарью. Тайбаас быстро спрыгнул. Беда! Пожар был! Где же тракторист? Тайбаас стал искать следы. Трактор еще теплый, человек далеко не ушел. Вот след, вот...

Тайбаас, ведя за собой оленей, медленно шел по следу. А вот здесь человек падал. Опять пошел. А вот на коленях полз. «Да что с ним?! Что с ним такое?»

Тайбаас уже бежал по следу и чуть не наткнулся на человека, зарывшегося в снег.

Тайбаас приподнял человека и испугался: лицо у него было в волдырях от ожогов. Глаза были закрыты, но человек дышал.

— Друг! — крикнул Тайбаас. — Слышишь меня?

Человек открыл глаза. Ресниц у него не было.

— Друг, как же ты попал в такую беду?

Тайбаас сдернул с плеч человека тяжелую промасленную тряпку (это была обгоревшая ватная стеганка от капота), снял с себя шапку, скинул кухлянку. Стал одевать тракториста как ребенка.

Одел, поднял стеганку, постелил ее на нарту и уложил тракториста. Сам остался в меховом жилете. Голову подвязал длинным толстым шарфом. «Спасать надо... Плохой трактор. Так обжег человека...»

Была ночь, когда молодой тракторист Михась Калининский отправился в путь.

Снег. Звезды.

Со стороны могло показаться, что трактор не сам идет, что кто-то тянет его, ухватившись за лучи фар, как за два светящихся дрожащих троса.

В Кумахтаах, где теперь строили дома для рыбаков, Михась возил лес уже дважды. Ему казалось, что к тундре он привык, и он нисколько не жалел, что год назад после демобилизации приехал сюда. Михась родился в Белоруссии, в деревне, а службу проходил на Дальнем Востоке. Был у них в части якут Семен Петров. Хороший парень. Он говорил, что красивее тундры ничего нет. Вот Михась и приехал посмотреть. Приехал и остался. Понравилось ему тут. И заработок хороший — Михась помогал своим старикам, да и сестре посылал деньги чуть не каждый месяц.

Мотор работал ровно. В кабине было тепло.

Михась напевал какую-то веселую песенку. Он был молод. Ему хотелось петь. И он пел.

Один среди бесконечной снежной равнины. Так прошла ночь.

Михась видел, как небо светлело, становилось все шире. И вот на востоке вслед за красным свечением зари возникло огромное холодное солнце Севера. Михась снова увидел живые снега, ослепительную ширь тундры.

Михась открыл дверцу кабины и, высунув голову, крикнул:

— О-о, го-го-го-о-о!

И его голос полетел во все концы тундры.

Солнце уже склонилось на запад. Позади осталась половина пути. И тут Михась увидел облака. «Может, пурга будет?» Михась до сих пор не попадал в пургу. Но бояться ему нечего: этого стального оленя, пожалуй, никакая пурга не осилит, а если ничего видно не будет, по компасу можно доехать.

А пурга и в самом деле начиналась.

Михась прислушался к голосу мотора и вдруг встревожился. Он прибавил газ, но трактор шел с той же скоростью. Неужели двигатель перегрелся? Раньше этого не случалось...

Михась остановил трактор, открыл капот. Система питания в порядке, с маслом все нормально... Он начал было осторожно отвинчивать крышку радиатора — пар вырвался со свистом. Михась заглянул в радиатор: вода булькала только на дне. Куда же она девалась? А, вот оно что: течет... Внизу капает. Да, плохо. Полчаса придется потерять, но исправить можно.

Он достал ящик с инструментом и принялся запаивать трещину на радиаторе. Работать было трудно — ветер мешал. Наконец запаял. Посмотрел на часы: ну и ну! — целый час возился. Михась влез на гусеницу и стал заводить мотор. Не получается! Застыл мотор! Делать нечего. Михась сделал факел из пакли, принялся разогревать картер. Тут и случилось непоправимое. Сильный порыв ветра вздул пламя, и оно охватило пропитанную маслом ватную стеганку на капоте. Стеганка вспыхнула. Михась растерялся. А длинные языки пламени через открытую дверцу уже тянулись в кабину. Загорелось сиденье. Михась сбросил стеганку в снег, скинул телогрейку, вскочил в кабину. Телогрейкой начал сбивать пламя, но и она загорелась. Он выбросил ее из кабины, стал голыми руками обдирать сиденье. Жгло лицо, руки. Михась уже ничего не видел. Но он знал, что делает. Сиденье полетело в снег.

«Все-таки удалось сбить пламя. Но руки, руки в волдырях... Как же я такими руками трактор заведу?»

На снегу дымилась ватная стеганка от капота. Телогрейка почти вся сгорела.

У него еще хватило сил взяться за рычаги. Мотор

снова не заводился. «Нет, такими руками ничего не сделаешь. Как же быть? До Кумахтааха километров сорок. Не дойти. Пурга начинается. Остаться нельзя. Замерзну. Надо идти на восток, к избушке охотников».

Михась набросил на плечи стеганку, шапку не нашел. Хорошо, хоть компас не потерялся.

Михась побрел на восток.

Тундра...

Летящий ветер, восточный ветер... снег, снег, а над головой — тяжелые, наползающие друг на друга тучи.

Тундра...

Вот и узнал тебя Михась.

Он идет из последних сил, налегает на ветер грудью. В глазах красные, желтые круги. Гудит ветер. Кругом снег, снег, снег...

Михась упал и не сразу поднялся.

Гудит ветер... Михась шел и падал; падал и шел и, наконец, лежа на снегу, понял, что подняться он уже не сможет. Снег был мягкий и даже теплый. Хотелось уснуть. Глаза сами закрывались, — уснуть...

«Пропаду, — думал Михась. — Надо идти».

Но идти он уже не мог и теперь полз, загребая руками снег, задыхаясь.

Он подтягивался на локтях, прижимаясь к снегу горячим лбом.

Тундра...

Так мог погибнуть человек. Один.

Но тундра — это двое.

Старый Тайбаас, держа в правой руке вожжи, бежал рядом с нартой, погоняя оленей.

На нарте лежал Михась.

Ветер все усиливался, снежные вихри палетали со всех сторон, впереди мелькали только спины оленей.

Тайбаас догнал оленей и увидел, что нарту везет один головной олень, а второй совсем обессилел.

Жалко Тайбаасу, очень жалко оставлять в тундре свою добычу, но что делать? Пришлось закопать в снег песцов, хоть этим облегчить нарту. Больше он своих песцов не увидит: почуют их по запаху волки и сожрут. Ничего не поделаешь.

Потом стал сдавать и головной олень. Тайбаас, как мог, помогал ему: толкал нарту сзади.

Когда головной олень стал шататься от ветра, а Тайбаас уже совсем задышался, показалась, наконец, избушка охотников. Теперь согреть надо человека...

Тайбаас нашел в избушке все необходимое: дрова для печки, масло, рыбу, мясо, посуду для варки пищи, оленью шкуру — чтобы было на чем отдохнуть. Все это было оставлено в избушке на случай беды — по обычаю тундры.

Уложив тракториста на оленью шкуру, Тайбаас затопил железную печку и набил чайник снегом.

Железная печка раскалилась быстро, в избушке стало тепло. Тайбаас поставил вариться мясо и подсел к трактористу, который не открывал глаз, только изредка тихо-тихо стонал.

При свете свечи Тайбаас увидел, что он совсем молодой. Тайбаас не помнил такого тракториста на рыбозаводе — видно, новый, приехал недавно.

Тайбаас стал поить больного с ложки. Веки у него задрожали, он открыл глаза. Тайбаас обрадовался, прошептал ему на ухо:

— Сынок, как себя чувствуешь?

Тот ничего не ответил. Из потрескавшихся губ его сочилась кровь. Тайбаас вспомнил, как лечили раньше ожоги медвежьим жиром. Но сейчас его нигде не достанешь, и потом медвежий жир не поможет: ожоги очень большие. В поселок везти надо, в больницу. «Как же я поеду завтра? Олени опять голодные,— так думал Тайбаас, прислушиваясь к тундре.— Где теперь родители этого парня? Они, наверно, не знают, что их сын попал в беду».

Вдруг больной пошевелился.

Тайбаас приложил ухо к его губам.

— Где... я?..

— В тундре. Не бойся,— ответил Тайбаас по-якутски. И, спохватившись, сказал по-русски: — Я озотнюк... Тундра, юрта...

— Пить...

Тайбаас напоил его чаем из стакана.

— Может, поешь? Мясо... мясо... килиэп... Балык... рыба...

Парень не ответил.

— Как имя?

— Ми-хась...

— Мэхээс? — удивленно воскликнул Тайбаас.— Мэхээс, да?

Парень кивнул.

— Мэхээс! У тебя якутское имя. Моего отца тоже звали Мэхээсом. А откуда ты?

— Белорус... Бело... рус...

— Так, так, сейчас понятно. Значит, белорус... На войне был мой брат, вот там и воевал. Мэхээс, я сын Мэхээса, а ты тоже Мэхээс! — бормотал радостно Тайбаас.— Будешь кушать, Мэхээс? Ты бы покушал, подкрепился.

Михась закрыл глаза. Тайбаас вышел за дверь, набрал в тряпку снега, приложил ко лбу Михася.

— Мэхээс, не бойся. Вот скоро притихнет ветер, поедем. У нас есть хороший лекарь, очень хороший человек. Даже мертвого оживить может. Тебя, Мэхээс, он обязательно вылечит,— бормотал Тайбаас.— Не бойся, парень... Он тебя вылечит... Слышишь, Мэхээс?

Тайбаас все подкладывал в печь дрова, кипятил чай. «Тундра, не надо шуметь. Человек совсем больной. Тундра, ты слышишь меня?»

После полуночи ветер начал стихать. Тайбаас решил ехать, не ожидая полного затишья.

Олени Тайбааса за ночь совсем не отдохнули. Второй олень даже не встал, когда Тайбаас вышел из избушки. Что ж, придется его здесь оставить.

Тайбаас почти насильно накормил больного супом и сам поел досыта.

Остатки сваренного мяса и другую еду положил на полку. Налил бульон в бутылку, сунул ее за пазуху: пригодится в пути. Отрезал от буханки половину, отдал оленям.

Запряг головного.

Оказывается, тундра только притихла и теперь снова бушевала. Все было так же, как вчера: олень тянул нарту, а Тайбаас толкал ее сзади.

«Еще километров сорок. До вечера доедем»,— думал Тайбаас.

Когда до поселка оставалось километров пять, олень поранил левую переднюю ногу, из раны потекла кровь. Олень виновато посмотрел на своего хозяина. Головного никогда не надо было пошукать... Раз остановился — значит, все. Тайбаас освободил его от постромок и сам повез нарту, налегая на лямку. Тяжело. Очень тяжело.

Олень шел за нартой, но все больше отставал. «Ничего, хороший олень, не пропадет, сам вернется домой. Ничего».

— Ничего, ничего,— твердил Тайбаас и шел, шел, шел...

Тундра...

Снег, снег, снег. Снег в лицо.

«Неправду говорят, что стар Тайбаас. Дойду».

Вечером во двор больницы вошел шатаясь облепленный снегом человек. Он тащил за собой нарту. Вокруг с громким лаем носились поселковые собаки.

На шум вышел врач.

Наткнувшись, как слепой, на крыльцо, человек показал ему на нарту, сказал еле слышно:

— Спасите его!..— и упал.

Врач заметался — кого пести первым: того, кто на нарте, или этого, на снегу.

Тундра — это двое.

## *Родной алас*

Сегодня ночью я увидел во сне родной алас. Вернее, не сам алас, а могучую раскидистую лиственницу, что росла за летним коровником. Чуть повыше комля кто-то содрал ее крепкую кору до самой древесины. В детстве я думал, что это разъяренный бык почесался рогами. Возможно, так и было. Я, помню, мазал голое место смолой, собранной с этого же дерева.

И вот снится мне: стою я у этой лиственницы. Знойный полдень. Лениво стрекочут кузнечики. Вокруг прогреетое солнцем душистое пряное разнотравье. Коров не видать. Только из-под дымокура тянется тонкой струйкой дымок. Тихо вокруг. Дремотно.

Не знаю, как я очутился здесь после стольких лет. И словно я еще маленький, а чувствую, понимаю все, как теперь.

Но что это?! Глаза мои упираются в непроглядную ночную темноту. И до меня доносится то ли крик испуганной птицы, то ли протяжный скрип погибающего на корню дерева... Это тяжело стонет мой сосед по койке. Холодный ветер хлещет по окнам больницы мерзлым снегом. Зажмурив веки, стараюсь продлить светлый сон,

лежу, скорчившись, захлестнутый проснувшейся вместе со мной болью.

Почему мне приснился такой сон? Почему всплыло откуда-то из глубин памяти видение детской поры, всплыло теперь, когда я из последних сил тянусь к жизни.

Говорят, когда человек стареет, когда все у него позади, а впереди так мало, он оборачивается, возвращается к дням своего детства. А когда совсем заканчивается его путь, возвращается он к родному аласу.

Неужто потому приснился мне этот сон?

Значит, жизнь прошла.

Так быстро...

Нет, не верю!

Мой алас, где я родился и рос, резвясь на зеленых рёлках<sup>1</sup>, ты возник перед глазами, чтобы в трудный час помочь своему сыну. Пусть же твое солнце осветит эту хмурую ночь. Пусть твой чистый, животворный воздух вливается в мою грудь. Пусть звонкие голоса твоих птиц напоминают о новых веснах. Пусть тоска по тебе не дает умолкнуть моему сердцу. И пусть льются, пусть льются на меня золотистые лучи, пробиваясь сквозь мягкую хвою.

---

<sup>1</sup> Рёлка — возвышенное сухое место на болоте или в сыром лесу.

## Кремень

Люди стояли и смотрели на мутное небо, по которому неслись рваные клочья туч.

— Что это за огонь! Его сверху не увидишь! Дров подбросьте!

Все снова забегали, заметались возле длинных костров, начали подбрасывать поленья, лежавшие в кучах, шуровать длинными шестами.

Сильный ветер все дул и дул, не ослабевая, гнал на костры снежную пыль, прижимал к сугробам гибкие, вспыхивающие языки пламени.

Костры чадили, искры, едкий дым, почти не поднимаясь, летели над снегом.

— Не у-ви-дит! Еще, еще давай!

А самолет, из-за которого так металась люди, улетал, улетал, и не все уже могли расслышать гул его мотора.

— Керосин! Вы что, жалеете? — крикнула Татьяна чуть не плача. Она вырвала из рук парня банку с керосином, плеснула в костер.

Большое пламя, словно огненно-рыжая собака, бросилось ей на грудь. Клуб черного дыма чуть не задушил ее. Кто-то оттолкнул Татьяну в сторону, в снег.

Татьяна встала, приподняла шапку-ушанку, опять прислушалась — ничего, только выл и свистел ветер.

— Пролетел, не увидел нас,— донесся чей-то голос.

— Наверно, уж не вернется...

Но люди не расходились, подбрасывали и подбрасывали поленья.

А между тем близилась ночь, и ветер дул все сильнее и сильнее.

— Нет, сегодня не прилетит. Ждать бесполезно...

— Дежурным остаться! Остальные могут идти в поселок.

Кто-то тронул Татьяну за плечо, и она медленно, пригнувшись, пошла за людьми. Идти было тяжело. Она еле волочила ноги. Неужели так сильно устала? А если бы прилетел хирург, которого они ждали? Он должен был прилететь. Тогда бы она, кажется, сама отнесла бы его на руках в поселок. А теперь ветер упругой стеной вставал между ней и людьми. Как она поможет Максиму Степановичу, что скажет ему, что скажет людям?

Татьяна остановилась. Парень, который стоял тогда с банкой керосина, крикнул ей на ухо:

— Дайте руку! Так легче идти!

Вокруг выл и свистел ветер.

Максим Степанович лежал, закрыв глаза. Можно было подумать, что он спит. Но он слышал, как медсестра Хоборос подкрадывалась к двери, приоткрывала ее и вновь закрывала, как в коридоре она тихонько ругалась с посетителями, желающими увидеть его. Слышал он также, как ветер хлопал дощатыми ставнями.

Да, не думал он здесь очутиться. Позавчера ездил в Кыртас, к оленеводам. Там и заболел. Еле довели его

вчера вечером — такая пурга! Ему уже семьдесят лет, но до сих пор он не был в больнице. Когда простужался, не обращал внимания, ходил, работал... само проходило. А если чувствовал, что дело плохо, выпивал полстакана спирта, а потом в постель, да сверху шубу. Утром вставал здоровый. И опять срочные дела... Теперь болезнь другая. Голова тяжелая, тошнит, а главное — эта боль в животе...

Ветер за окном такой, что самолет, пожалуй, не сядет. Если бы мог, давно бы уж прилетел. А люди там, у костров, наверно, ждут, ждут... Эта девочка Таня говорит, что с аппендицитом шутить нельзя, вырезать надо обязательно. А пурга дней пять будет. Так что...

Вот олени тоже болеют. Поэтому он с ветврачом и поехал в Кыртас. Председатель колхоза поручил, ему-то самому некогда, его собрания в районе замучили... Да, штук десять оленей заболели копытником. Давно этого не было, забывать стали. И откуда снова появился копытник? Хорошо, хоть здоровых сразу отделили. А больных оленей ветврач вылечит — хороший лекарь!.. Интересно, если бы не ездил в Кыртас, дал бы о себе знать аппендицит? Кто знает? Семьдесят лет — это семьдесят лет. Все же правду в старину говорили: жизнь человека пролетает быстро, как ворона мимо окна...

Боль немного отпустила, и Максим Степанович задремал было, как вдруг — то ли наяву, то ли во сне — увидел кочковатую долину у излучины реки Силяна. Там же, около самого леса стояла их маленькая юрта. Максиму всегда казалось, что прекраснее этого аласа нет ничего на свете. Он знал здесь каждый бугорок, каждую листовенницу, каждую березу. Когда-то он, восьмилетний мальчик, и его отец батрачили у наследного богача. Неделю, от силы дней девять могли они выдержать, а потом

возвращались в родной алас за едой, подкормиться. Максим шел по знакомой тропе навстречу родным берегам и лиственницам, и ему казалось, что они узнавали его, покачивали ветвями.

И после смерти отца он продолжал батрачить у того же хозяина и отходил сердцем только в те недолгие дни, которые проводил в родном аласе. Там же Максим и услышал радостную весть о свержении власти богачей. Тогда на наследном собрании в первый раз выступил он против своего хозяина Осипа Грозного, в первый раз посмотрел ему в глаза.

Максим увидел себя сейчас как бы со стороны.

Вот он, батрак Осипа Грозного, сняв старенькую шапку из конских волос, доставшуюся ему от деда, в первый раз произносит речь, приветствует новую власть.

— Братья, все-таки настали черные дни для богачей, кровососов толстопуzych,— говорил он.— Солнце теперь светит тем, у кого на руках мозоли. Теперь и власть, и земля — наши.

— Не жадничай, не хватай землю зубами, сам землей станешь! — вскочил на ноги его хозяин Осип Грозный.

— Подойди попробуй: сейчас увидим, кто из нас раньше землей станет.

Люди удивлялись, глядя на этого батрака-хамначчи-та — до вчерашнего дня был тише воды, ниже травы. И Максим сам на себя удивлялся. Ему казалось, что он стал намного сильнее, и глаза смотрят зорче, и уши лучше слышат, и голос громкий, твердый.

С этого дня его словно ветром носило по всей Якутии. В каких только местах не сражался он за свободу. Он участвовал в боях усть-майинских, вилюйских, амгинских, жиганских. Не выпускал винтовку из рук до тех

пор, пока бандиты не были истреблены. И потом он жил беспокойно. По заданию партии работал в отдаленных наслеггах, строил новую жизнь. Сколько раз проклинали Максима Степановича, грозили ему богачи, купцы, шаманы, у которых было конфисковано имущество, отнята земля, у которых он отнял право грабить, обманывать, богатеть. В любом крупном районе Якутии есть колхозы, которые он организовал или другим помог организовать. Но всюду, где бы он ни был, он нет-нет да и вспомнит свой родной алас на берегу Силяна, свои лиственницы, свои березы. Чем старше становился Максим, тем чаще он это вспоминал. После войны с фашистами, вернувшись с фронта, он уже прочно обосновался в родных местах. Был бригадиром, заведующим фермой, председателем колхоза. Теперь у Максима Степановича новая должность — пенсионер. Но забот, кажется, прибавилось. Все его касается, не может Максим Степанович отойти от дел — глаз у него хозяйский. А родная земля силы ему придавала. Скажешь об этом молодым — не поверят. Постоит он на опушке леса, где раньше была его юрта, и словно молодость к нему возвращается... Прислушается он, а оттуда, из березовой рощи, где стоял их титик — летний хлев, доносится ласковый голос матери:

— Мак-сим-ка!..

И отец стоит под высокой лиственницей и тоже окликает его:

— Максимка!

И он не знает, к кому бежать — к отцу или к матери, и кричит:

— Я здесь!

Да, а сыновья Максима Степановича — взрослые уже люди — не так привязаны к родному аласу: приезжают в отпуск дня на два — только повидаться.

Семьдесят лет... Неужели пришла пора ногами вперед — в могилевскую губернию?

Каждому на этой земле отведен свой срок, и вот когда срок подходит... Но меньше всего хочет Максим Степанович подводить итоги.

Эх, еще бы годков двадцать — сколько можно было бы успеть... И все равно дела бы еще остались, все равно времени бы не хватило...

Обидно просто. В каких только переделках не побывал Максим Степанович! Две войны, да какие! Бандиты, кулаки... А тут ерунда, дрянь какая-то, кишки отrostок! И умирать из-за этого? Нет, так просто он не сдастся. Вот только бы сознание от боли не потерять... Кажется, идет кто-то... Шаги слышны... Если бы хирург прилетел...

— Как он себя чувствует? — спросила Татьяна у Хоборос, стоявшей в коридоре.

— Плохо. Но после укола, кажется, задремал... Вы хоть видели самолет-то?

— Нет, только слышали.

Татьяна прошла в свою комнату, надела белый халат, присела к столу. Она перечитала историю болезни Максима Степановича. Эту историю Татьяна помнила наизусть — сама ведь ее писала...

— Пурга и завтра не утихнет, — значительно сказала Хоборос, проходя мимо ее двери.

Да, пурга не утихнет, а оперировать Максима Степановича необходимо сегодня, самое позднее — завтра утром. Иначе умрет Максим Степанович... Только операция спасет... Если бы она была хирургом... Но Татьяна терапевт, да к тому же терапевт неопытный, только в прошлом году институт кончила. Хоборос еще вчера приготовила операционную, все инструменты простерилизовала.

Хоборос свое дело знает — двадцать лет работала операционной сестрой в районной больнице.

Что это она сказала? «Пурга и завтра не утихнет...»  
Как же быть?

В коридоре раздался какой-то шум, слышались голоса. Немного погодя вошла Хоборос.

— Отлучиться нельзя на минуту — только за шприцами на второй этаж, а у его постели уйма народу. Еле выгнала из палаты. Сейчас опять расселись у входа, дежурят. Ты, милая, пойдешь сейчас к Максиму Степановичу?

Пойти-то пойдет, только что она ему скажет? Максим Степанович ждет от нее правды, только правды. Такой уж он человек. Его за это вся Якутия уважает. Он всегда был примером для ее отца, для братьев... Сколько легенд о нем ходит! Как он Вилюй переплыл, когда кулаки прострелили его легкую лодку-берестянку. Как он сумел обмануть бандитов, которые вели его на расстрел! Что там говорить, героическая жизнь! И вот эта жизнь сейчас в ее руках...

В дверь постучали, вошел агроном Семен Гурьев, молодой человек, заместитель председателя колхоза.

— Только сейчас по радио передали — еще раз полетят к нам завтра утром. Спрашивают: каково состояние Максима Степановича, не будет ли утром поздно? Я не знал, что ответить...

Татьяна молчала, она смотрела вниз, на ноги Семена Гурьева. Сколько снегу приволок!

— Вы, наверно, прекрасно знаете, что, перед тем как войти сюда, вытирают ноги, снимают верхнюю одежду...

— Простите, — сказал Семен, — а если и завтра самолет не сядет, как нам быть, что делать?

Татьяна пожала плечами.

— А ты можешь?

Она покачала головой.

— Чему же ты училась пять лет? — спросил он прищурясь и, не дождавшись ответа, повернулся, хлопнул дверью.

Татьяна очень хотела догнать его, объяснить, что она не хирург, а терапевт, что это совсем разные специальности. Но ведь Семен и так об этом знает. Чего же он от нее хочет? А еще ухаживал за ней... слова всякие говорил. А теперь — «чему училась?». Наверно, не только он, и другие так думают, и Максим Степанович, может быть. Что она ему скажет?

Максим Степанович встретил ее вопросом:

— Ты что, голубушка, приуныла, будто на глазах у свекрови молоко пролила... Ну ничего, не прилетел самолет сегодня, — может, завтра прилетит... Подождем. Не унывай, милая. Улыбнись-ка лучше. Ну...

Но Татьяна не смогла улыбнуться.

— Чего ты все о моей болезни думаешь, ты ведь молодая, парень у тебя наверняка есть. Вот вспомни о нем — и улыбнешься.

— Нет у меня парня!

— Что ты говоришь! Если нет, так будет. Вот Сеня Гурьев. Чем плох? Знаешь, как он о тебе говорит?..

Татьяна улыбнулась.

— Да, сегодня слышала...

Старик пытался приободрить ее, но она видела по глазам, что делает он это через силу. Такая боль... Другой бы на его месте...

Татьяна внимательно осмотрела больного. Сегодня

же надо оперировать. Сейчас же — чем раньше, тем лучше.

— Таня,— сказал Максим Степанович,— скажи правду: плохо дело?

Татьяна кивнула.

— Надо оперировать?

— Да.

— Немедленно?

— Да.

Бесшумно вошла Хоборос, остановилась посредине палаты. И вдруг Максим Степанович сказал весело:

— Зачем мы ждем хирурга? Он ведь и завтра не прилетит. Оперировать так оперировать. К черту этот аппендикс!

— Оперировать... Сам себя будешь резать? — насупилась Хоборос.

— Ишь ты какая... Так не пойдет... Давайте разделим обязанности: аппендикс мой, а уж остальное — ваше дело.

— Татьяна не хирург, а тэрэпэк,— промолвила Хоборос.

— Ну и пусть тэрэпэк... Таня, ты же знаешь, где этот чертов отросток? Знаешь. А как разрезать, отрезать, завязать, зашить — знаешь? Знаешь. Ну вот и все. Действуй. А Хоборос тебе поможет — она ведь в этом не хуже профессора разбирается.

— Профессор не профессор...— Хоборос скрестила руки на груди.— Посложнее были операции, не то что твой аппендикс.

— Ну вот, давай, Таня.

— Не-ет.

— Почему?

— Боюсь я. Никогда не оперировала.

— Не бойся, Таня. Всякий человек, а тем более врач, смелым должен быть. Но это еще не все.— Максим Степанович достал из-под подушки маленький серый камешек.— Твердым надо быть, как этот кремь. Тогда искры будут, понимаешь? Ты, конечно, подумай как следует, еще раз в книжки свои посмотри и рсшай. А то эта Хоборос голодом меня морит, все к операции готовит. Напрасно, что ли, я два дня не ел?.. Там ко мне пришли... Вы уж пустите их, пожалуйста. Все равно мне пока делать нечего.

Татьяна пришла к себе в комнату, села за стол и обхватила голову руками. «Решай». Легко сказать! Как бы вы поступили, Максим Степанович, на моем месте? Рискнули бы? Да, вы бы рискнули, это я знаю. Все взвесив, решились бы. Максим Степанович! Как вы сказали? «Еще раз в книжки свои посмотри...» Все, что написано в книгах о таких операциях, Татьяна знала. Кроме того, она три раза видела, как другие оперируют аппендикс. В прошлом году была даже ассистентом. И все-таки, если... Скажут — зарезала. И все равно другого выхода нет. Врач должен до конца бороться за жизнь больного. У меня есть возможность спасти жизнь Максима Степановича. Возможность... Если я откажусь от нее — струшу... Только не это. Хватит сомневаться! А то руки будут дрожать. Рука хирурга должна быть уверенной, твердой. Недаром Максим Степанович о кремне говорил...

— Операционная готова? — холодно, резко спросила она.

— Готова,— ответила Хоборос.

— Инструменты?

— Готовы.

— Освещение?

— Предупредила электриков на станции, сейчас еще

раз напомним.— Хоборос, приоткрыв дверь, крикнула: —  
Сеня, ты скажи этим парням: начинаем.

— Оперировать будете? — спросил Семен Гурьев.—  
Я сам пойду на станцию. Не беспокойтесь.

Максим Степанович подмигнул Татьяне:

— Не бойся, Таня, не бойся!

— Скальпель,— сказала Татьяна твердо.

— Тампон! — Татьяна уже завязывала шелковые нитки. «Неужели все? — посмотрела на часы, висевшие над дверью.— Неужели целый час прошел?»

Максим Степанович во время операции был в сознании. Он то и дело вытирал полотенцем пот, выступавший на лбу. Вдруг он закрыл глаза.

— Хоборос! — крикнула Татьяна.

— Не бойся! Проверь пульс,— шепнула Хоборос.—  
Ничего страшного: просто он много крови потерял, переливание надо сделать.

После переливания крови и укола Максим Степанович пришел в себя.

— Уже? А я и не заметил. Задремал, что ли? Ну, Татьяна, с первой твоей операцией! От смерти меня спасла. Что я тебе могу сказать? Спасибо.

Хоборос погладила девушку по плечу.

— Татьяна Ивановна, иди отдыхай. Здесь много людей, помогут отнести больного в палату.

«Татьяна Ивановна...» В первый раз назвала ее так Хоборос...

— Дай мне твою руку, Таня,— промолвил Максим Степанович.

Татьяна что-то хотела ему сказать и заплакала.

— Это хорошо, Таня, когда плачешь от радости. Возьми этот камешек. Он у меня с гражданской войны. Я им людей согревал.

Татьяна шла в свой кабинет мимо людей, которые стояли в коридоре. Она не вытирала слез.

Маленький камешек, серый, невзрачный. А ударишь по нему — не раздобишь, искру высечешь.

Кремень.

## Счастье

1942 год. Омск. Госпиталь.

В палате шестнадцать коек, и нас пятнадцать — раненых солдат. Разлучила нас с родными и близкими, забросала по фронтам и вот пригнала сюда война, которой конца не видать.

За окном весна. Солнце то выглядывает, то спрячется. И настроение у нас под стать погоде, переменчивое. Получил ли кто весточку из дому, или стонет твой товарищ, или растерянно улыбнется медсестра, совсем еще девочка. Надежды, тревоги, сводки Совинформбюро...

Лежим на своих койках, как на железных весах войны.

Молча лежим в это раннее весеннее утро, кто уткнувшись лицом в подушку, кто глядя в госпитальную белую стену.

Сегодня, когда время перевалило за полночь, хозяина шестнадцатой койки — обгоревшего танкиста — накрыли простыней и унесли на носилках. Он был с нами всего двое суток. Сначала все шептал, никто не мог понять что, а перед самой смертью позвал, задыхаясь:

— Счастье... Счастье мое... Счастье...

И словно можно было исполнить его последнюю просьбу, мы все разом крикнули:

— Сестра! Сестра!

Теперь шестнадцатая койка пуста, и мы стараемся не смотреть на нее, голую, с чернеющими пружинами, и не думать о последнем ее владельце, но мысли бегут, как по кругу, и вновь возвращаются к танкисту.

— Эх,— вздыхает Филиппыч, пожилой солдат,— бедняга, на этом свете, чай, не довелось ему изведать настоящего счастья...

— А в чем оно, «настоящее счастье»? Растолкуй, пожалуйста, папаша,— прищурился мой сосед Федя Клочков.

Филиппыч помолчал, погладил усы, улегся поудобнее, а уж потом ответил тихо, словно с самим собой разговаривал:

— Хоть все прошло-минувло, а жили — лучше можно, да не надо. Избенка, какая ни есть, своя. Есть-пить — что хошь. И жена рядом...

— Это и есть твое счастье? — усмехнулся Клочков и, притянув к себе костыли, тяжело поднялся с койки.— Крот ты...

— Дурья твоя голова,— не повышая голоса, обиженно промолвил Филиппыч и отвернулся.

«Сейчас заведется»,— подумал я, глядя на поджавшего губы Клочкова. Он всегда, чуть что не так,— в коридор, скачет там на костылях из конца в конец, пока не обессилеет. Потом вернется в палату, взгромоздит на койку загипсованную ногу, натянет на лицо одеяло.

Но Клочков не ушел. Он стоял, опершись на костыли, у широкого окна, затянутого пожелтевшей марлевой занавеской.

— А в чем оно, счастье? — спросил Лебедев, бережно, как младенца, держа раненую руку.

— Не в жратве, — процедил сквозь зубы Клочков, укладываясь на койку.

— Оно конечно... — согласился Лебедев. — Однако и голодовать ведь никто не хочет... Вот дали бы мне отпуск после госпиталя — махнул бы домой. Пацаны за руки уцепятся — папка приехал!

— Шшастье... шшастье... — зашепелявил Бекболат Саттаров. В рукопашной немецкий офицер хватил его по лицу рукояткой пистолета. Вышиб передние зубы, сломал челюсть. — Я бы этого гада... Дашт аллах, ешо вштретимся... — и Бекболат, мы зовем его Борей, взялся рукой за горло.

С улицы донесся звон трамвая.

— Только не смейтесь, ладно? — приподнялся на локте Саша Кудрявцев. — В десятом классе училась со мной Аня. Мы просто дружили. А привезли меня сюда, написал ей: «Аня, люблю тебя». Может, она об этом никогда не узнала бы... И вдруг ответ получил: «Жди. Скоро приеду». И в конверте цветок засушенный, синий. Наверное, не приедет. Далекое ведь... Мать не пустит.

— И не сомневайся, — мягко, но с какой-то затаенной обидой сказал Клочков. — Приедет, это уж точно. А у другого...

— Братцы, с детства мечтал стать героем, но не получается, — печально улыбнулся Ким Степанов, мой земляк, оторвав от подушки забинтованную голову. — Надо же было случиться, по дороге на фронт наш эшелон разбомбили, пятый месяц валяюсь здесь. А как хорошо вернуться домой героем, с орденами — вот это было бы счастье!

— Что ждет солдата: орден или...— заговорил Филиппыч и тут же осекся.

Вот и поговорили о счастье. Лежим молча. И дивлюсь я — и, видно, не я один,— как по-разному видим мы свое счастье. А ведь верим, чувствуем, что должно оно быть одно, большое, одно — для всех.

Кто-то приоткрыл дверь в палату, и в тот же миг ветер распахнул окно, сорвал марлевую занавеску, и вместе с солнцем в палату нашу ворвались гудки машин, гомон весенней улицы, крики детей.

Вот оно, счастье!

## *Старуха Агдос*

Свернув с дороги на тропинку, ведущую к западной окраине летовья, где юрта старухи Агдос, останавливаясь в раздумье. Вроде дела никакого нет, можно пройти мимо. Да не могу. Если долго не бываю здесь, беспокойно становится на душе, чего-то мне не хватает... К тому же, узнаю от людей, что старуха справляется обо мне.

Я иду по тропинке.

У Агдос был сын — один-единственный. Звали его Тюмээс. Тюмээс был старше меня лет на пять, но пошли мы в школу в один год и сразу подружились. Не знаю почему, но у нас в селении школа открылась много позже, чем в других местах, так что Тюмээс начал учиться, уже повзрослев. Перед войной, когда я, поступив в техникум, уехал в город, Тюмээс женился на Арыппей — девушке из нашего селенья. У них родились сын и дочь. Потом началась война с фашистами. Тюмээс был призван в армию. На третий год пришла на него похоронка. Вскоре после победы Арыппей вышла замуж. За старика Никуса, такого робкого и застенчивого, что, как гово-

рится, и лежащую на дороге корову не поднимет — обойдет. А Агдос как жила с невесткой и внуками, так у них и осталась: куда ей уходить, да и зачем.

Больше двадцати лет прошло со Дня Победы. Сын и дочь Тюмэеса выросли и давно уже покинули родное гнездо. А совсем состарившаяся Агдос все так же живет с бывшей невесткой. Теперь она здесь вроде чужая: и не свекровь Арыппей, и не бабушка детям Никуса.

Войдя во двор, я увидел Арыппей за маленьким круглым столиком, стоявшим прямо под открытым небом. Она что-то шила на машинке. Из юрты высунулись лица ребятишек, но тут же исчезли. Здесь знают, к кому я пришел. Арыппей не стала заводить со мной разговор, лишь кивнула головой и, обернувшись в сторону летнего коровника, крикнула: «Бабушка Агдос! Твой приятель пришел!» — и улыбнулась мне, словно ожидая похвалы: «А что, хорошо ведь я сказала».

Давая понять, что мне это не понравилось, я отвернул от нее лицо.

Агдос показалась из-за коровника с охапкой сухого кизяка и вдруг выронила ношу и торопливо затрусил непослушными уже ногами.

— Кто, говоришь?

— Приятель твой!

Агдос подошла ко мне вплотную и потухшими глазами заглянула мне в лицо:

— А-а, это, оказывается, ты?! Давненько тебя жду. Ну, сынок, посиди тут, на травке, поговори с Арыппей.

Я присел рядом с Арыппей. Она на меня и не глядит. Тарахтит швейной машинкой и, между делом, зыря глаза в сторону юрты, мечет распоряжения:

— Воды принесите на вечер! Сбегайте в магазин за

сахаром! Куда это запропастился наш отец? Время уже прийти ему, коли он хозяин этого дома!

«Наш отец», «хозяин дома» — слушая эти слова и поглядывая на молодое еще лицо женщины, полной заботами сегодняшнего дня, я думаю о том, как скоротечно время, как у некоторых людей бесследно заживают раны сердца. Как будто раньше ничего и не было.

Перед войной я каждый год приезжал сюда на каникулы. И часто встречался с Тюмээсом и Арыппей. Из этих встреч особенно запала мне в память одна. Летним вечером, когда солнце просвечивало меж редкими листовницами, уставшие, они шли с покоса. Рука ее покоилась на плече мужа, а он словно нес Арыппей, обняв за талию. Я провожал их взглядом, пока они не исчезли в лучах вечерней зари.

— Сынок, иди чайку попей,— позвала Агдос, выглянув из-за двери.

Я знаю, отказываться — мол, недавно чаевал,— бесполезно. И поэтому тут же прохожу в юрту. На столе исходит сизым паром медный, до блеска начищенный самовар. Стол накрыт скромно. Теперь Агдос в новом, слишком широком для нее платье, на голове венцом ситцевая косынка. Бедная старушка, за последнее время она заметно сдала. Ссутулилась. Росточком поменьше стала. Лицо одрябло, как кожура высыхающей ягоды. Щеки впали. Из-под косынки высовываются восковые седые пряди. Агдос то и дело вздрагивает, поглядывая на дверь.

Я сижу, как обычно, справа от входа, а на другой стороне стола, у передней красной лавки, тоже кому-то налит густой, со сметаной, чай, дышащий парком. Каждый раз, когда вижу это, меня охватывает волнение. Сдается: вот-вот отворит дверь и войдет тот, кому налит этот креп-

кий горячий чай, сядет с нами и начнет прихлебывать... Когда-то давно мы вот так же пили чай — втроем: Агдос, Тюмээс и я. Стараюсь не глядеть на этот стакан и увлечь старушку разговором.

К исходу моих новостей заканчивается и чаепитие.

Только стакан чая на другом конце стола остается нетронутым. Он уже не курится парком.

Выходим на улицу. Прощаюсь.

Арыппей на меня и внимания не обращает, занимается своим шитьем.

И вдруг Агдос хватает меня за рукав:

— Гляди-ка! Кто это идет?

Ее потухшие глаза загораются. Я гляжу в сторону восточной дороги. По опушке леса едет всадник. Очевидно, пастух с фермы. Конь-то его. Да, определенно он.

Арыппей молча, кивком головы, показывает на старушку: видишь, мол, какая она, твоя приятельница, совсем из ума выжила. И в ожидании моего ответа улыбается. А я, так же молча, одним взглядом, силюсь выразить свою любовь к старушке, преклонение перед ней и вместе с тем неприязнь и даже ненависть к Арыппей. Но все это, вероятно, не доходит до ее сознания. Ей смешно. Еле сдерживаясь, чтобы не прыснуть, она прячет голову за швейной машинкой.

— Теперь разглядел? Кто это? — голос старухи сдавлен волнением.

Я делаю вид, что напряженно вглядываюсь.

— Это другой... — говорю.

Я знаю, Агдос ждет, что сын вернется по этой дороге. Летом сорок первого Тюмээс уехал по ней.

— Другой... — повторяю я тихо.

Слово это я должен сказать. Но каждый раз произношу его, стыдясь и робея.

Да, мне стыдно, что я жив. Чем я лучше Тюмэса, который был умней, сильней, красивее меня? Почему не он, а я хожу по этой теплой, цветущей земле?

Еще раз прощаюсь полусшепотом и бреду по тропинке. Знаю: если обернусь — сердце обожжет огнем. И все же оборачиваюсь.

Приложив руку к глазам, старушка Агдос стоит и вглядывается...



## *Лиственница*

В сороковом году мы все трое получили в Якутске дипломы, и нас направили на работу в родной район. Вася Ермолаев стал работать зоотехником, Боря Слепцов — заведующим сберкассой. Я окончил педагогическое училище, а меня, к моему удивлению, назначили инспектором района. Попробовал отказаться — не вышло, сказали, что это уже решено. Итак, я никогда не работал в школе — и вдруг стал учителем учителей. Но это уже другой разговор.

Вася, Боря и я дружили еще в школе. И в Якутске мы встречались чуть не каждый день. Хоть и учились в разных техникумах, а вечера проводили вместе, ходили в кино, в театр, за девушками ухаживали. Они нас шутливо называли «Три танкиста». Песня тогда такая была: «Три танкиста, три веселых друга»...

Почему-то считают, что лучше всего дружат люди со схожими характерами. Но где вы видели, чтобы склочник, сутяга дружил с таким же склочником? Или вот, например, красивые женщины. У них редко бывают красивые подруги. Эта мысль не новая, но и в самом деле чаще всего сближаются люди совсем разные.

Так и у нас. Вася был неразговорчив. Он только улыбался или хмурился и во всех случаях произносил свое любимое слово: «шы-быр-гы». Но как он это произносил! Никогда не думал, что в одном слове может быть столько оттенков. А Боря, наоборот, мог заговорить кого угодно. Кажется, рот его не закрывался даже во сне.

Вася был невысокий, коренастый, тяжелый, но он, к нашему удивлению, с успехом занимался легкой атлетикой. Бегал быстрее всех в районе. Не имел он себе равных и в прыжках на одной ноге — кылы, и в тройном прыжке — ыстаца.

Боря же был худой, долговязый, очки носил. Девушкам он нравился больше, чем Вася. Может, потому что петь любил, танцевать. Когда мы шли к девушкам в общежитие, впереди маячил Боря, а замыкал шествие я. О себе не говорят. Скажу правду, ничем я не выделялся.

Проработали мы в райцентре почти год. Летом нам полагался отпуск. Мы с Васей хотели поехать в свой алас, помочь родным на сенокосе. А Боря думал провести отпуск в доме отдыха под Якутском.

Но все наши планы рухнули: началась война.

Мы с Васей прошли комиссию, были признаны годными. Борю в армию не взяли: зрение плохое, близорукый. Нам дали три дня на сборы, и мы с Васей успели съездить в деревню проститься с родными.

Но последний день мы провели втроем. Я хорошо запомнил этот жаркий, знойный день. Было третье июля. Кажется, никогда не глядел я на родную землю такими жадными, запоминающими глазами.

Все кругом — черно-синий лес вдали, ярко-зеленые луга, высокое голубое небо без единого облачка — я словно видел в последний раз. Было тихо-тихо. Лишь изредка прощебечет какая-нибудь пташка, прощебечет и

сразу умолкнет. Птицы, звери — всех разморил зной. Густой смолистый аромат исходил от лиственниц.

За поселком, на взгорье, среди смешанного молодого леса была маленькая полянка. Когда расцветали лютики, она походила на золотой ковер, а придешь туда недели через две — и видишь ярко-голубые цветы и подросшую свежую траву. Здесь всегда тихо, даже в очень ветреный день. Мы давно облюбовали эту поляну, играли здесь, дурачились, валялись. Но в тот день нам было не до шуток. Боря, помню, говорил, качая головой: «Вам хорошо, вместе едете, а мне-то каково будет одному до фронта добираться?..» Да, Боря был удручен.

И вдруг Вася предложил:

— Давайте, ребята, посадим на нашей поляне лиственницу, пусть она ждет нас — мы обязательно вернемся.

Долго ходили мы по лесу, пока не выбрали молоденькую, стройную, какую-то удивительно праздничную. Осторожно выкопали ее с корнями и посадили посреди поляны.

Мы тогда сказали Боре:

— Пока ты здесь, береги ее, ухаживай, ограду вокруг нее обязательно сделай — скотина, хоть и редко, а все же сюда забредает. Когда ты придешь сюда один, считай, что ты с нами повстречался, поговорил.

Мы условились, что, если и Боря будет призван в армию, за лиственницей должен присматривать тот, кто первым вернется с фронта. Если она все же не приживется или еще что-нибудь случится, надо будет посадить новую... пусть она здесь растет, наша лиственница.

А в тот год, когда кончится война, третьего июля, куда бы нас ни занесла судьба, где бы мы ни были, мы все равно должны прийти сюда. И даже если в живых останется только один из нас, он придет сюда в этот день.

Так мы решили и встали, взявшись за руки, вокруг лиственницы. Ее мягкие ветви обняли нас.

До Иркутска мы с Васей ехали вместе. А потом нас определили в разные части.

Я провожал Васю. Уже стоя на подножке, держась за поручень, он вдруг спросил:

— Алеша, ты помнишь о лиственнице?

— Помню! — крикнул я. — Не бойся! Боря сбережет!

Так мы расстались. Навсегда. Вася погиб при форсировании Днепра.

Сразу после окончания войны я демобилизовался из армии. Приехал на родину первого июля 1945 года.

Боря встретил меня радостно. Оказывается, в начале войны он получил броню, его назначили заведовать финансовым отделом райисполкома.

Боря изменился: он располнел, стал такой солидный, степенный, слова сразу не скажет — подумает. Семейный человек, двое детей. Боря достал рюмки. Выпили с ним, вспомнили о Васе.

— Да... хороший был друг, — сказал Боря.

Я поехал в свой наслег. Сначала зашел к матери Васи, а потом уж к своим родным.

Третьего июля вернулся в райцентр и сразу в исполком, к Боре.

— Ну, пошли, — сказал я, когда мы остались вдвоем в кабинете.

— Куда?! — Он был удивлен.

«Что он, с ума сошел! — подумал я. — Разве с такими вещами шутят?..» Но скоро я понял, что он был в своем уме и не шутил. Боря тер лоб, вспоминая, куда мы должны идти. Я показал ему на раскрытый листок перекидного календаря, который лежал у него перед глазами.

— А ну-ка посмотри...

Он стал листать календарь назад и вперед.

— Сегодня третье июля! Забыл?

— А-а, да-да, точно, забыл...— И Боря, вместо того чтобы сгореть от стыда, рассмеялся, словно услышал о чем-то очень приятном.— Надо же, что мы тогда придумали.

«Надо же, что мы тогда придумали...»

— Слушай, Алеша! Зачем нам туда идти? Во-первых, раньше шести я не освобожусь. Во-вторых, земля сырая, дожди все время шли... Да и далеко. Пока соберемся, доберемся — уж темно будет. Заходи-ка лучше вечерком ко мне.

— А ты помнишь третье июля сорок первого года?

— Э-э, ну зачем так... молодые были, чудачили... Да приходи ты ко мне вечером. Коньяк есть — по карточкам весной давали.

— Жду тебя на поляне. В семь часов,— сказал я, как отрубил, и ушел.

На улице долго раздумывал: может, я что-то не понял? Он и раньше, бывало, говорил не совсем понятные вещи. Неужели он все-таки пошутил сегодня?

В пять часов я пришел на взгорье. Лес немного подрос, но все еще был молод. Я представлял себе, что вот сейчас выйду на нашу поляну, а там, у лиственницы, стоит и ждет меня Вася. Стоит и ждет.

И вот я раздвинул высокие кусты и увидел поляну. Лиственницы не было! На ее месте торчал неровный пенек. Сломали!.. Я подошел поближе, потрогал острый сухой расщеп. Видно, еще тем летом загубили...

Так вот почему Боря не хотел сюда идти! Он здесь с того дня не был ни разу... Вот сволочь! Значит, уже тогда думал, что мы не встретимся. Стоял с холодным сердцем...

Чудес не бывает, но я подумал, что, если бы наша лиственница зеленела, пришел бы сегодня и Вася, не мог бы не прийти...

Сейчас бы ворваться в кабинет к этой сволочи, разнести дверь, разбить кулаком толстое стекло у него под носом...

Немного успокоившись, я решил все же подождать его здесь... Если не придет — тогда уж...

Дошел до края поляны и лег там в тени на траву. По светло-голубому небу медленно проплывали кучевые облака.

Какое красивое облако! Белоснежное, в солнечной короне. Я следовал за ним, пока оно не скрылось за горизонтом. Проплыло. И следа не осталось. Неужели и в сердце Бори ничего не осталось от нашей молодости? Нет, не осталось. Я закрыл глаза. Самое страшное — разувериться в человеке, на которого надеешься, как на каменную гору.

Да, лучший друг...

Уже вечерело, удлинялись тени деревьев. Я встал, чтобы уйти. И тут на поляну выскочил Боря, остановился и осторожно положил на траву набитую снедь сумку.

— Ау, Алеша, вот и я. Бежал всю дорогу!

А я молчал.

— Ты долго ждал? Проголодался? Ну ничего, не сердись. Посмотри лучше, какой у нас будет ужин.

Он расстелил на траве газету и стал вынимать припасы. Но я схватил его за руку и потянул к пеньку. Он упрямылся:

— Куда ты меня тащишь?

— А вот сюда. Ты что, памяти лишился? Забыл, что здесь должно расти?

— Ах, да, куда же это делась наша листвяшечка? До

пынешней весны стояла, а теперь — нет. Корова, наверно, сюда забрела, потерлась, вот и сломала.

— Не ври! Она погибла четыре года назад! Вот как ты ее берег!

— Может, ты и прав,— сказал он небрежно.— Кто его знает, может, и четыре года... Экое дело. Что тебе, в лесу деревьев мало? Давай лучше закусим. Я к тебе спешил, не пообедал. Будет у нас с тобой этой ночью жизнь Омоллона и пиршество Джэрэсттэйя. Только жаль, закуска-то холодная. Послушался бы меня, ели бы теперь дома, все прямо из печки — жареное, пареное. Ну ничего, друг, смотри, какой коньяк! Для тебя берег. На, откупорь!

Я взял протянутую мне бутылку и хватил ее о дерево.

— Иди отсюда, подлец!

— Да ты что?.. Из-за листвяшки, что ли?

— Уходи отсюда, говорят тебе. Быстро! — Я сжал кулаки. Все внутри у меня дрожало.— Уберешься ты или нет?

Боря попятился к своей сумке.

— Ты, парень, не очень-то задавайся! Я тоже здесь для победы работал. Смотри, как бы не пожалеть потом... не плюй в колодец, пригодится...

Я шагнул к нему. Он быстро нагнулся и запихнул в сумку свою жратву. Потом, уже из-за деревьев, донесся его голос:

— Эх ты, из-за листвяшки!

Семнадцать лет прошло с тех пор... Летом, когда расцветают лютики, наша поляна как золотой ковер, а придешь через неделю и увидишь ярко-голубые цветы и подросшую свежую траву. По-прежнему даже в самый сильный ветер здесь бывает тихо.

Посреди поляны лиственница — молодая, стройная, праздничная. Я посадил ее в память о Васе.

Здесь часто слышатся звонкие ребячьи голоса. А в звездные вечера влюбленные приходят, что-то шепчут друг другу.

Я бываю здесь со своим сыном. Он помнит про этот день — третье июля.

А уважаемый главный бухгалтер Борис Андреевич Слепцов здесь не бывает. Делать ему тут нечего.

Семнадцать лет прошло. Но простить я его не могу...  
Растет лиственница, растет...

## *Твой голос*

*Марусе*

По мягкой стежке, по зеленой тропинке совсем юным пересек я родной алас. И вот вышел на перевал, откуда начинался новый путь. Впереди глухо шумела черная тайга, громоздились голые скалы, холодом обдавали душу бездонные пропасти. И остановился я, не решаясь двинуться дальше.

И вдруг — то ли с земли, то ли с неба — донесся до меня благословляющий голос:

— Друг мой, иди. Ты осилишь дорогу!

Это был твой голос.

И поднял я голову и дерзко глянул вперед.

Я продирался сквозь чащобы, карабкался по скалам, бежал вместе с реками в каменных теснинах. Уводила меня дорога в сторону от широких долин с их спокойным небом и журавлями, открывались передо мной глухие распадки, пустынные мари. И когда, выбиваясь из сил, падал я, прижимался к земле потемневшим лицом, снова и снова слышал твой голос:

— Друг мой, не сворачивай с честной дороги. Иди!  
Да пребудет с тобой моя любовь!

И я наливался силой и волей, точно бы пригубил живой воды. И отступала усталость, и светозарились мысли, словно весеннее небо.

Много лет миновало с того дня, когда я в последний раз прошел по мягкой стежке, по зеленой тропинке родного аласа.

Далеко теперь тропинка эта. Далеко теперь она и близко: каждый раз превращается в нее моя дорога, когда слышу твой голос.

## «Наш!»

Когда нарта взлетела на пригорок, Аппанас Татаев всмотрелся в сторону озера, где из-под снега торчали реденькие кусты тальника. Сердце Аппанаса забилося учащенно. Другой бы там ничего не заметил: торчат кусты, да и все. Но Аппанас хорошо знает по прошлым зимам — вон у того кустика, где стоит капкан, снег никогда не задерживался, сдувает его. «Есть, есть еще один песец!».

— Э-ге-гей! — крикнул старик.

Вожак упряжки, белый с черными пятнышками на кончиках ушей пес Кырынас<sup>1</sup>, оглянулся на своего хозяина и, поняв, что он крикнул просто так, не гонит, продолжал бежать по-прежнему. Действительно, Аппанас не торопил собак. Это он крикнул, радуясь добыче. Аппанас промышляет уже полсотни лет, но до сих пор радуется, как ребенок, добыв зверя. Неправда, что охотник, много промышлявший, безразличен к своей маленькой удаче. Если тебя не волнует, не радуется каждый новый попавший в твой капкан или в твою ловушку песец,—

---

<sup>1</sup> Кырынас — горноста́й (по-якутски).

значит, тебе не надо промышлять, ты не настоящий охотник.

Около кустов собаки остановились.

Аппанас легко соскочил с нарты. Песец, попавший в капкан, оказался отборным, крупным. Видно, что вырывался из капкана, чуть не перегрыз себе ногу. Аппанас попытался освободить капкан и не смог. Что такое? Неужели песец, обледенев, так крепко примерз к капкану? Вот что значит старость; руки слабые стали, раньше он в один миг разжимал пружины. А теперь... Аппанас снова взялся за капкан. Вдруг за спиной что-то прошуршало, и конец кожаной веревки вырвался из его руки. Старик нагнулся, чтобы схватить веревку, но она вильнула и отползла. Аппанас вскрикнул, протянул обе руки, упал ничком — вот она! — и все равно не смог дотянуться. Вершка не хватило. Конец веревки, извиваясь, отползал все быстрее. Аппанас вскочил на ноги. Его собаки с громким лаем уже бежали к середине озера. А на том берегу Аппанас увидел диких оленей, штук десять. Они мчались на север, к морю. У Аппанаса мороз пошел по коже.

С криком «Кырына-ас! Кырына-ас!» он бросился за собаками. Кырынас услышал его, рванул в сторону. Но нарта, увлекаемая другими собаками, подскакивая на кочках, неслась на север. Аппанас уже не мог бежать. Он шел медленно, еле волоча ноги, тяжело дыша. Ни собак, ни оленей. Только тундра, необозримая, голубая вдали.

Аппанас опустился на снег. Сидел молча, низко опустив голову, и словно дремал.

— Нет! Нет! — прошептал он. — Не может быть... — Он все никак не мог поверить, что случилась такая беда. Нет для охотника страшней беды, чем потерять своих собак, своих оленей, — это все равно, что птице потерять крылья.

И все же это случилось. Он один в тундре. Ни разу в

такую беду не попадал. На старости лет пришлось. Очень плохо. Нельзя промышлять без собак.

«Береги своих оленей и собак как зеницу ока», — вспомнил Аппанас слова своего отца.

Однажды весной они с отцом возвращались домой с охоты. Очень устали, проехали дней пять, ночуя на снегу под открытым небом.

Отец передал ему вожжи, сам задремал. Аппанас торопил оленей, хотел быстрее в теплую юрту, к матери, горячего поест. Но до родных мест было еще далеко. Вдруг Аппанас увидел юрту эвенков, тордох из оленьих шкур, черневший посреди тундры. Аппанас толкнул отца в бок и радостно закричал:

— Отец! Отец, смотри — тордох! Остановимся? Что ты молчишь?

Не говоря ни слова, отец вырвал из рук Аппанаса вожжи, повернул оленей и замахнулся на них хореем.

— Куда ты едешь! Вон где тордох!

— Тише! — прошептал отец. — Молчи!

Олени понеслись, а отец все оборачивался, как будто за нартой кто-то гнался. Когда тордох исчез из виду, отец оглянулся напоследок и сказал:

— Сынок, к этому тордоху нельзя ездить. Там нет ни одной живой души. Все умерли. Хозяин тордоха упустил своих оленей, а дикие олени увели их к морю. Охотник пошел за ними и не вернулся. Его жена и дети умерли с голоду. А потом они, говорят, превратились в злые руки, которые шарят вокруг тордоха, хватают все живое.

...Аппанас вспомнил все это, встал, вытер рукавом заиндевевшие ресницы, пошел по следам своих собак. Следы вели на север. Вдали он заметил что-то темное, то ли кустик, то ли бугорок, закричал:

— Кырына-ас!

И этот его страшный отчаянный крик разнесся по тундре.

Только на следующий день вечером смертельно уставший старик добрал до избушки охотников. Из трубы шел дым. Аппанас открыл дверь и увидел Чагыла Черканова, бригадира охотников, молодого парня, недавно вернувшегося из армии.

— Ба! Аппанас! — круглое загорелое лицо Чагыла осветилось в улыбке.

В другое время Аппанас тоже приветливо заулыбался бы, внезапно увидев бригадира. Но теперь, словно не замечая его, молча, не спеша снял шапку и рукавицы, швырнул их на нару. В избушке было жарко, но Аппанас сел у печки, не снимая дохи. Чагыл смотрел на старика во все глаза, подошел к нему ближе, тихо сказал:

— Аппанас, что с тобой?

Старик не ответил. Чагыл налил в кружку чай, протянул Аппанасу. Старик, держа кружку то одной, то другой рукой, стал пить, причмокивая. Чагыл ждал. Старик сам налил себе еще чаю.

— Аппанас, пей, не спеши. Я пойду накормлю твоих собак, — Чагыл уже схватил шапку и рукавицы.

— Не ходи...

— Аппанас, я вижу, ты очень устал. Я их быстро накормлю. А ты поужинай как следует, — сказал парень, одеваясь.

— Сказано тебе, не ходи!

— Почему?

— «Почему, почему?» — Аппанас бросил пустую кружку на стол. — Кого ты будешь кормить?

— Как — кого? — удивился Чагыл, уставившись узкими глазами на Аппанаса. — Ты что, без собак? Что случилось, Аппанас? Где твои собаки?

— Убежали, убежали к морю... за дикими оленими... — Старик так низко опустил голову, что чуть не прикоснулся лбом к накалившейся докрасна железной печке. — Вот я и приехал... на своих двоих... Сначала по следу шел. Потом замело следы...

— Так вот в чем дело! И ты так убиваешься! — воскликнул Чагыл. Он снял шапку, достал из мешочка свою провизию, вывалил ее на стол.

— Да раздевайся ты наконец! За стол садись ужинать. Ну и напугал ты меня: я думал, заболел или еще что... Оказывается, ты здоров, невредим. Ну, а собаки... Ну что ж, конечно...

— Замолчи! — перебил Аппанас, зло посмотрев на Чагыла.

Аппанас попробовал поесть, но аппетита не было. Он сидел молча и думал, какая нынче пошла молодежь, несерьезная, легковесная. Для них потерять собак — ничего особенного. А этот чертов сын так даже и говорит: «Так вот в чем дело!» Да и что они могут понимать: живут на всем готовеньком, ни горя, ни нужды. О нашей прошлой жизни только понаслышке знают. «Ну что ж, говорит, собаки...» Ишь ты! Еще охотником называется! Бедный Кырынас! Так ведь хотел остановиться. Другие не дали... Как, наверно, сейчас тоскует Кырынас, как скулит... Нарта, наверно, застряла в каких-нибудь кустах, собаки лежат на снегу. А может, их уже волки съели? У Кырынаса все в роду были хорошие: отец его Мойторук был сильной и умной собакой, а отец Мойторука тоже замечательная была головная собака. А самый молодой в упряжке — Кырсачан — по всем признакам стал бы настоящей головной. Правду говорят, старость не радость. Будь Аппанас помоложе — ни за что не выпустил бы из

рук веревку. Да, все теперь кончено. Больше не промышлять: легко ли снова обзавестись собаками и нартой?

— Аппанас, да ты ешь! Не расстраивайся, отыщутся твои собаки,— успокаивал его Чагыл, потчевал хлебом, строганиной.

— Ну, конечно, отыщутся...— Аппанас вздохнул.— Один Кырынас чего стоит... Нет, больше уж мне не завести новых собак, нет...

— А ведь ты своих можешь найти.

Старик не счел нужным ответить на такие глупые слова парня, только с укоризной посмотрел на Чагыла. Легко ли найти в бескрайней тундре несколько собак? Если искать, то искать сейчас же, сегодня. Не отыщешь сегодня — считай, пропали. Кто знает, куда они могут убежать за эту ночь, что с ними может случиться?

— Остальные капканы я хотел завтра проверить,— начал Чагыл.— Ничего, отвезу тебя утром в поселок. Из райцентра вертолет вызовем. На вертолете искать будем.

«И чего смеется над старым человеком этот мальчишка?» — подумал Аппанас. Но Чагыл смотрел серьезно. «Конечно, вертолет высоко поднимается, далеко видно». В прошлом году Аппанас летал на самолете из поселка в райцентр на слет лучших охотников. «Да, пожалуй, на вертолете их можно отыскать...» Но старик пробурчал:

— Жди, дадут тебе вертолет! Собак искать! Что ты мелешь, парень!

— А почему не дадут? Вертолет-то чей? Наш! Наш же вертолет!

— «Наш!» — ехидно улыбнулся старик.— Знаешь, сколько он стоит? Жди, дадут тебе самолет.

Как хвастливы, самоуверенны эти нынешние парни! Посмотришь на них — совсем ничего не знают.

А ведь раньше как было.

Только Аппанаса стали называть охотником, приехал в алас Ыргалла — богач. Потребовал с отца Аппанаса чистыми деньгами долг, а долг за три года в пять раз вырос, проценты брал Ыргалла. В юрте ни гроша. Аппанас помнит, как рычал Ыргалла. А отец голову опустил, руки опустил. «Нищий! Холуй! У тебя ничего нет! — орал Ыргалла и топал ногами.— Эти олени, собаки, эта юрта — все мое! Твой сын — тоже мой! Он мой батрак. А твои — только волосы на голове!»

Что они понимают в жизни, эти молодые... Конечно, теперь другое время... Но все же для собак старого Аппанаса целый самолет...

— Да ты послушай меня,— сказал Чагыл,— успокойся. Поедем завтра в поселок, все обойдется. Спать ложись. Поедем рано. Не пропадут твои собаки.

Аппанас повернулся спиной к Чагылу и стал раскуривать трубку из корня березы, украшенную красными медными полосками. Он думал о своем Кырынасе.

...Когда приехали в поселок, Аппанас сразу пошел домой и уже больше не выходил. Стыдно было показываться людям. Каждый будет расспрашивать, жалеть...

К вечеру зашел Чагыл.

— Слушай, Аппанас, вертолет нам обещали. Должен прилететь. Так что собирайся. Не забудь взять корма для собак. А я еду в тундру. Капканы у меня остались...

Аппанас покачал головой. «Зачем он это зря болтает? Может, лучше попросить собак у соседей, самому поехать искать. Да куда теперь ехать?»

Он никак не мог заснуть и все не мог простить себе, что, вернувшись в поселок, сразу не взял собак у соседей, не поехал искать... Он ворочался с боку на бок и наконец поздно ночью задремал и очутился там, на озере, где он выпустил из рук веревку.

Аппанас сидит возле того кустика и плачет, и слезы его, замерзая на лету, как град, стучат по насту. Издалека донесся лай собак. Аппанас поднял голову: к нему скакали все его собаки — верхом на диких оленях. Впереди всех — на самом большом олене — Кырынас, у него в зубах большая кожаная сумка с песцами. Подскакав ближе, Кырынас соскочил с оленя и, виляя хвостом, с громким лаем подбежал к Аппанасу. Старик проснулся от собственного крика: «Кырынас!»

Утром, хотя Аппанас не верил в то, что вертолет прилетит, он все же прислушивался: не гудит ли? Но взошло весеннее солнце, старик уже давно позавтракал, а самолет не прилетал. Аппанас места себе не находил. «Наш, говорит, самолет. Ну да, конечно, наш! Как теперь мне этот сопляк в глаза посмотрит...»

Наконец Аппанас решил просить собак у соседа, и вдруг в ушах у него загудело. Аппанас подошел к окну и увидел, что над рекой какая-то машина летит, на самолет не похожа, вроде стрекозы, с длинным винтом наверху. Машина села на снег прямо перед правлением колхоза. Ну и страшна, и во сне такая не приснится. Неужели это чудовище будет искать его собак? А может, это просто начальник какой прилетел... Выйдешь туда с кормом для собак... Как бы люди не осмеяли...

Так думал Аппанас, сомневался, но тут открылась дверь, и он услышал звонкие голоса ребятишек:

— Дедушка Аппанас, вертолет прилетел. К тебе. Выходи скорее!

Как хорошо видно с вертолета! Все как на ладони. Хоть тундра и большая, но Аппанасу кажется: протянешь руку, дотянешься до вершин тех дальних гор. Такое могли только богатыри из Олопхо.

Они летели над тундрой почти час и теперь направля-

лись к морю. Каждый раз, когда внизу в тундре что-то чернело, сердце Аппанаса замирало, он думал, что это его собаки, но это были просто кустики.

Аппанасу очень нравился вертолет! И взлетает прямо без разбега, и висит, где нужно, сколько угодно. Вот бы с этой стрекозы капканы проверять.

Летчик, кажется, хороший парень. Совсем молодой, русский. По-якутски ничего не понимает, а когда рукой покажешь, летит куда надо.

Аппанас сидел, вертел головой, и вдруг летчик тронул его за плечо, дал ему свой бинокль и показал, куда смотреть. Опять Аппанас увидел что-то темное. Летчик говорил какие-то непонятные слова, но Аппанас понял, что он хочет лететь туда, и кивнул. «Опять, наверно, кустики», — подумал он про себя. До кустиков было еще далеко, и Аппанас смотрел по сторонам. Летчик что-то крикнул, и Аппанас увидел: впереди на снегу что-то шевелится. Нет, это не кустики. Э, собаки! Аппанас вскочил на ноги, ударился лбом о стекло. Собаки, испуганные гулом мотора, бросились было бежать, но вертолет все равно висел в воздухе прямо над ними, и собаки сбились в кучу, легли на снег.

Прошло несколько дней, и как-то, проверяя свои капканы, Чагыл и Аппанас встретились в тундре, в той же избушке, и, сидя за чаем, услышали гул самолета.

— Наш, — сказал Аппанас, распахнув дверь.

— Что?

— Наш! Наш, говорю! Не видишь, что ли?

— А! Ну да... а ты чего думал? — сказал Чагыл.

Аппанас закрыл дверь, опустил голову и улыбнулся.

## «Жив!..»

Середина двадцатых годов. Глухой уголок Якутии. Тогда здесь только начали действовать советские законы.

По декрету о земле, подписанному Лениным, у богачей отняли лучшие сенокосные угодья и распределили среди неимущих. Бедняки, которые раньше не имели своего надела и почти не считались людьми, обрели землю.

Самому что ни на есть бедному жителю наслега, многодетному Рыбаку Баралаану, кормившемуся рыбьей мелюзгой из озера, досталась тогда луговина в березовых рощах князька по имени Маппый.

Подоспело время сенокоса.

И вот высокий хмурый старик Маппый, надумав нагнать страху на всегда робкого Рыбака, притащился поутру на свое бывшее угодье.

Баралаан в портах и нательной рубашке, в прохудившихся коротких торбасах<sup>1</sup> стоял на кромке луговины и оттачивал косу.

---

<sup>1</sup> Т о р б а с а — обувь из коровьей или лошадиной шкуры.

Его маленькие дети, завидев идущего к ним бывшего князька, с испугу метнулись в тень кудлатой ивы.

А Баралаан, хоть плечи его и сжались со страху, ведь он за всю свою жизнь ни разу не перечил тойону<sup>1</sup>, поднять глаза на него не смел, расхрабрившись, стоял на месте, еще крепче упершись ногами в землю. И видно было, никто и ничто не заставит его оторвать ступни от этой мягкой почвы. Ведь все это дано ему самим Лениным! А указы Ленина никак не могут быть отмененными. Никто не вправе их отменить!

Приблизившись к Баралаану, старик Маппый остановился и, подбоченившись, грозно глянул на своего бывшего батрака.

А Баралаан не то чтобы проронить обычное приветствие «кэпсиэ»<sup>2</sup>, даже и не смотрит на него. Наточив косу, пучком зеленой травы вытер до блеска лезвие, затем поплевал в ладони и, широко расставив ноги, размахнулся было, но тут позади него загремел гневный окрик:

— Пстой!

Косарь вздрогнул, втянул голову в плечи, придержал косу на взмахе, однако не оглянулся.

— Пстой, тебе говорят! — Маппый схватил его за плечо. — Убирайся отсюда, бродяга! Твоя, что ль, эта земля, дармоед? Откуда у тебя такой земле быть? Это — моя земля!

— Врешь — моя! — Баралаан обернулся и рывком сбросил с плеча тяжелую руку тойона.

— Это нашей семьи покос! — закричал Маппый. — Исстари, со времен еще прадеда.

— А теперь — мой! — сказал Баралаан тихо, но уверенно.

---

<sup>1</sup> Т о й о н — господин, хозяин.

<sup>2</sup> К э п с и э (дословно: рассказывай) — якутское приветствие.

— Ты что, варнак, хочешь прибрать к рукам чужую землю?

Баралаан окинул взглядом затрясшегося от злобы старика и, как бы вбивая в него каждое слово, выговорил твердо:

— Мне землю Ленин дал!

— Ленин?!

— Да, Ленин!

— Несчастный, а ты когда-нибудь видел его, познакомился с этим человеком?

— Я-то его в лицо не знаю, но зато он знает нас всех, бедных. Так что лучше уж загодя сам убирайся! Не уймешься — дам знать Ленину, что-де топчешь в грязь его указы. И тогда тебя...

Схватившись руками за живот, Маппый захохотал:

— Ха-ха-ха! Ну-ну, дай знать! Ха-ха!.. На тот свет! Ну, чего стоишь?! Ха-ха! Отправляйся на тот свет и положи ему!..

— Что это ты болтаешь?

— А ты еще не слышал, дуралей? Ленина вашего теперь нету. Давно уже помер!

— А-а?!

— Вышел он весь, Ленин-то ваш!.. Нету его! Помер!..

— Заткнись, зеленобрюхий! — Баралаан выхватил косу. — Ленин жив!

Увидев, как изменился с лица Баралаан, старик Маппый попятился от него. А как засверкало на солнце лезвие косы, бросился за купы ив. И, перегоняя его, раскатывался голос Баралаана:

— Ленин жив!.. Жи-ив!..

## *Отец и сын*

Переваливший за пятьдесят, еще крепкий и бодрый с виду человек и его сын первоклассник идут на лыжах. Мальчик, как расшалившийся жеребенок, то вдруг перегоняет отца, взбрыкивая палками, то степенно шествует следом.

Вот впереди крутой склон. Отец ускорил ход. Не останавливаясь у подножия, он стал взбираться вверх, прокладывая новую лыжню по чуть голубоватому нетронутому снегу. Поднимался долго, лыжи проваливались в снег. Запыхался. Лицо вспотело. Изморозь побелила ресницы. Идти становилось все труднее. Но отцу не хотелось, чтобы сын заметил его усталость. Упорно продолжал он взбираться вверх, напрямик, как пущенная стрела.

И вот наконец-то добрался до вершины. Жадно вдохнул холодный воздух. «С непривычки, поди, выбился из сил», — с жалостью подумал он о сыне и оглянулся. Сына не видать. Куда же девался? Хотел было окликнуть, как вдруг сбоку раздался смех. Смотрит — сын рядом. Чуть сдвинул ондатровую шапку на затылок и стоит улыбает-

ся. Ну и ну! Оказывается, сын шел следом за ним, а он не заметил этого — только о себе и думал.

— Шел за мной? — спросил отец, скрывая смущение.

— Э, нет. Я вон там... — мальчик махнул рукой в сторону почти совсем пологого подъема, где уже давно была проложена кем-то лыжня. — Я ведь раньше тебя поднялся.

К удивлению мальчика, отец почему-то не похвалил его за находчивость. Пробурчал что-то непонятное и отвернулся. Пытаясь понять, что отцу не понравилось, мальчик взглянул на прямую лыжню от подножия до вершины, и ему вдруг захотелось самому проторить такой же прямой след.

## *Когда кончается дождь*

Дождь зарядил с утра и все никак не мог кончиться, хотя порой казалось, что он вот-вот перестанет. Мелкая водяная пыль, словно серый пороховой дым, висела перед ивняком у реки. Берега ее кочковатые и травянистые. От шалаша до края леса лежат толстые валки, скошенные вручную. Но сеном не пахнет — все запахи забивает тяжелый аромат разбухшей от дождя тайги.

Мой непромокаемый плащ давно уже промок, и я прячусь в глубине шалаша. А Дмитрий, учитель здешней школы, сидит возле костра на обрубке бревна и распутывает сеть. Он в одной синей майке и холщовых штанах. Сидит ко мне спиной, и я вижу его острые лопатки и длинную шею, почерневшую от загара.

Мы с ним вместе когда-то учились на рабфаке, жили в одной комнате. Он получил диплом на год раньше меня и уехал на родину учительствовать.

Как-то осенью я получил от Дмитрия письмо: он поступил в военную школу.

Началась война, и мы с ним потеряли друг друга из виду. И после войны он не объявился. И вдруг прошлым летом я наткнулся на него на улице Ленина в Якутске.

От неожиданности я даже слова вымолвить не мог, только смотрел на него во все глаза. А он сказал совсем спокойно, словно мы расстались с ним только вчера:

— Здравствуй, друг! Ты не очень торопишься?

Дмитрий был выше меня, и я, подняв голову, все смотрел ему в глаза.

— Ты что, не узнаешь? Верь своим глазам — это я.

— Узнал... Как не узнать... Слава богу, ты живой. Где пропадал до сих пор?

— В деревне... Ты что, забыл, что я учитель?

— Почему же мне ни разу не написал?

— То есть как? Два письма отправил, а ты не отвечаешь.

Оказывается, он писал мне по старому адресу.

Тогда Дмитрий и пригласил меня погостить в свою деревню. Недели через две я смог поехать к нему.

Пришел прямо в школу. Уборщица сказала, что искать его надо на Боковой речке.

И вот я нашел Дмитрия.

— Ты приехал очень удачно, друг. В дождливую погоду. Сегодня можно и отдохнуть от работы, порыбачить. А то я тут сено заготавливаю. Помочь решил колхозу. Теперь узнаешь, какие здесь караси. Во! Кило весом.

Дмитрий очень долго возился со своей сетью. С дороги меня разморило. К тому же дождик. Я малость задремал и увидел во сне огромного карася. Он прыгал на хвосте. А потом вдруг как толкнет меня холодным носом! Я проснулся.

Дмитрий стоял надо мной, с плеча его свисала сеть.

— Ну, несчастный горожанин, снимай галстук, засучи штаны — в рыбный магазин пойдём.

— Пойдем, пойдём, деревенщина, — в тон ему ответил я.

Черт долговязый! Шагает широко, трудно за ним поспеть. Этой своей гулливерской походкой он меня и прежде мучил — когда мы ходили из общежития в Сергеляхе до рабфака... Еле добежал за ним до речной заводи. Там в камышах стояла маленькая лодка. Дмитрий залез в нее и поплыл расставлять сети. А я на берегу отмахивался от комаров. Кусают, сволочи, уйма их здесь. Совсем заели.

— Что, танцуешь? — крикнул Дмитрий, выплыв на середину заводи.

— Танцую! Краковяк! Давай быстрее, а то съедят!

Когда мы возвращались в шалаш, на тропинке, ведущей в лес, показались двое: женщина в белой косынке, а за ней молодой парень. Подошли ближе. Сразу видно: мать и сын. Женщина, очевидно, была когда-то очень красивой.

— Здравствуйте,— сказал Дмитрий, глядя на юношу.

— Здравствуй, Дмитрий Степанович,— ответила женщина.

Мне показалось, что я мешаю им, и я отошел к шалашу.

— Вообще-то я в бригаду иду,— услышал я женский голос,— надо узнать, сколько сена заготовили. Завтра в район вызывают. На сессию райсовета. А надо тут дело делать — вон сколько сена пропадает.

— Да, сейчас не время заседать,— сказал Дмитрий.

— Но я к тебе не жаловаться пришла. Поговори, если есть время, с моим Нюргунем. Ты ведь для него не только учитель.

— Мама!

— Все! Не буду. Ну, я пошла.

— Дариа, заходи на обратном пути — рыбу возьмешь.

— А что, Нюргун не унесет?

— Может, и не унесет...— улыбнулся Дмитрий.

Он стоял неподвижно и смотрел, как Дариа шла по тропинке.

А между тем дождь снова припустил.

Дмитрий бросился в шалаш, выскочил оттуда с плащом в руке и побежал по кочкам, крича:

— Дариа, возьми пла-ащ! Дариа, плащ!

— Не сахарная, не растаю.

Дмитрия словно кто в грудь толкнул. Он вернулся, залез в шалаш.

— Нюргун, чего мокнешь? Поди сюда.

Они сели на стесанное с одного бока бревно.

— Ну, Нюргун, выкладывай, что у тебя за дело.

Нюргун покосился на меня.

— Я вас еще не познакомил,— сказал Дмитрий.— Нюргун Туласынов. Бывший мой ученик. Теперь студент-заочник. Работает в колхозе трактористом. А это мой друг. Вместе на рабфаке учились. Ты не стесняйся, Нюргун, говори, с чем пришел.

— У меня, Дмитрий Степанович, такая просьба... Вы всегда были вместе с моим отцом... И на фронте вместе воевали...— Парень опустил глаза.— И меня столько лет учили... Понимаете...

— Пока ничего не понял. Скажи, в чем дело?

— Сейчас скажу. Короче говоря, Дмитрий Степанович...

— Ну-ну!

— Я решил вступить в партию. Вы можете за меня поручиться?

Дмитрий нахмурился.

— Думаю, что смогу.

— Спасибо, Дмитрий Степанович, спасибо,— прошептал Нюргун.

— Заходи вечером,— сказал Дмитрий.— Напишу рекомендацию.

Нюргун не мигая смотрел на него своими светлыми глазами. Потом повернулся и зашагал по тропинке.

Дмитрий жадно выпил давно остывший чай.

— Пойду сети проверить. А ты пока разведи костер. Вскоре он притащил в берестяной корзине — тымтае — крупных трепещущих карасей.

Почистили рыбу, нанизали на ивовые прутья, стали жарить. Жирные караси, не хуже прославленных кобьйских.

Ем я этих карасей и спрашиваю Дмитрия:

— Кто эта Дариа, что приходила?

— Мать Нюргуна,— ответил Дмитрий и посмотрел на меня так, что я не стал больше спрашивать.

Дмитрий достал старую полевую сумку, вынул из нее бумагу, ручку.

— Рекомендацию надо парню написать.

Он долго сидел и не написал ни одной строчки.

— Слушай, друг,— спросил меня Дмитрий,— как ты думаешь — и в самом деле всегда надо говорить правду?

— Ясное дело.

— Тебе это так ясно? А мне — нет. Ты спрашивал о Дариа. Я тебе сейчас кое-что расскажу. Только давай сначала закурим.

...Нас было трое: Дариа, Никус и я. Мы росли в одном аласе. В школу поступили в один год. Тогда дети из далеких аласов поздно начинали учиться. Поэтому седьмой класс мы кончали уже, можно сказать, переростками. Ты видел — Дариа и сейчас красивая. А какая была!.. Парни постарше нас заглядывались на нее. А ходила она только со мной и Никусом.

Никус видный был парень. Веселый, кудрявый, легкий

такой. Пел, танцевал. Сначала Дариа относилась одинаково к нам обоим. Но пришло время, когда одному из нас надо было отойти. Дариа выбрала Никуса — стала совсем по-другому смотреть на него.

Как-то перед летними каникулами я встретил их на улице.

«Вы куда?» — спросил я.

«В лес», — смущенно ответила Дариа.

«Пойдем с нами», — сказал Никус, не глядя мне в глаза.

Я отказался. Они не особенно огорчились.

Мне тяжело было видеть их вместе. Так я оказался на рабфаке. Помнишь, как меня звали девушки! Монахом. Мне никто тогда не нравился.

Никус и Дариа прислали письмо. Звали на свадьбу. Я ответил, пожелал им счастья.

Все кончали рабфак и уезжали учительствовать в родные деревни. А я не мог. Подал заявление в военное училище. Помнишь, какое время было. Гитлер захватил Польшу. Войной пахло...

Дмитрий снова закурил.

— Ты рядовым воевал? — спросил он.

— Да.

— А я командир роты — за людей отвечал... Так вот слушай. Лето сорок второго. Под Сталинградом. После двух недель боев нас отвели на пополнение. Отдохнули, отоспались. И вот принимаем солдат — человек тридцать новичков, необстрелянных. Выкликаю по списку, и вдруг из второго ряда выбегает солдат и мне на шею.

Это был Никус!

Мы с ним проговорили всю ночь. Вспомнили друзей, знакомых, родных — от детей до стариков. Только о Дариа ни слова. Наконец я не вытерпел.

«А как живут твои?»

«Да ничего...»

«Как Дариа?»

«В колхозе работает. Теперь председателем. В прошлую зиму родила. Сына — Нюргуна».

Я достал бутылку, разлил в стаканы водку.

Выпили за здоровье его сына.

О Дариа больше не говорили.

Да, вот так и получилось — чего на войне не бывало — мы с Никусом в одной роте. Я командир, он солдат.

И вот мы вместе со всеми этими новичками в окопах.

Ровно в пять утра немцы начали. Артподготовка. Потом — ты же знаешь, как это было, — пошли танки.

На левый фланг — два, на правый — четыре.

Я и побежал по ходу сообщения направо.

Все старательно стреляли, отсекали пехоту от танков. И новички тоже. Так их учили.

Танки были метрах в ста. Помню, Шилов, немолодой уже солдат, не торопясь гранаты связывал. Он себе зубами помогал, чтобы наверняка было. Знаешь, на кого он был похож? На моего отца. Отец тоже так делал, когда хомуты чинил.

Я тебе сказал, что четыре танка шли?

Так вот, один вырвался вперед.

Шилов перемахнул через бруствер и ему навстречу.

И тут молоденький солдат в окопе рядом со мной заорал:

«Бежим! Наши драпают!»

Оглянулся назад. Кто-то, раскинув руки, без оружия бежал ко второй траншее. Я выстрелил ему в спину. И Никус поднялся... Но, увидев, что произошло, нырнул в траншею.

Атаку мы отбили.

Шилов остановил тот головной танк. Сам погиб. И еще восемь человек убило.

Два танка расстреляли прямой наводкой с запасных позиций. А один назад повернул.

Так я тогда и Никуса мог уложить.

Я потом долго думал: почему же Никус струсил в этом бою? Вместе росли, ходили на охоту, один раз даже заблудились в пургу. Ничего я в нем тогда плохого не замечал. Разве только вот это...

У Никуса бабушка была. Хорошая. Всем детям сказки рассказывала. В аласе горевали, когда она умерла. Помню, в тот день пришел в дом к Никусу. Приоткрыл дверь в его комнату. Он примерял новый костюм и улыбался, в зеркало на себя смотрел.

Вот и все. Ничего я больше вспомнить не мог.

После боя политрук Саша Бондаренко принес мне на подпись похорошны, среди них и на Никуса.

«Туласынов семейный был?» — спросил он.

«Семейный, жена, сын, родители».

«Ты знаешь, — сказал Саша, — зачем им страдать из-за него?»

Отправили извещение:

«Ваш муж, Туласынов Николай, погиб смертью храбрых...»

Дариа по сей день ходит вдовой. Нюргун мечтает быть таким, как отец.

Дмитрий отвернулся от меня.

— Ну так что ж. Пусть его считают героем. Кто от этого страдает, кроме меня?

— Дмитрий, — тихо сказал я. — Вспомни Шилова... Нюргун должен знать все.

Дмитрий закрыл глаза рукой.

Просветлело. Дождь перестал, или это только казалось.

— Вы что, спите? — раздался голос Дариа.

— Нет, — ответил я. — Дождь кончился?

— Кончился наконец. Дмитрий Степанович, иди сюда!

Дмитрий вышел.

— Ну как, с Нюргуном поговорил?

— Поговорил. Я ему обещал.

— На тебе лица нет. Заболел?

— Нет, не заболел. Возьми рыбу.

Дмитрий наклонился, поднял корзину с карасями.

— Тут очень много! Вы оставили себе?

— Оставили.

— Спасибо, Дмитрий. До свидания!

Я выглянул из шалаша.

Дариа уходила по тропинке. Дмитрий смотрел ей вслед. Вдруг она остановилась, поставила корзину на кочку. Повернулась. Подняла руку:

— Дмитрий, до свидания!

## *Плачущая роща*

В детстве их видел, а помню так, будто вчера это было...

Лето в самом разгаре. Жаркий полдень. Я ищу нашу корову — не пришла она на полуденную дойку. Забрался я, как мне тогда казалось, очень далеко от дома. Бегу по краю мягкой душистой луговины. И вдруг вижу нашего соседа Тыныраха. За спиной у него что-то топорщилось в большом куле. У нас все недолюбливали этого Тыныраха, пронырой он был, ловкачом. Нет-нет да и разнесется слух: Тынырах опять какого-то простака обманул — купил за гроши, выгодно сбыл...

Поравнявшись со мной, Тынырах пробурчал что-то. «Угу», — отозвался я, не останавливаясь.

За луговиной колок — маленькая березовая роща. Скот любит пастись в таких местах — то ли прохладнее там, то ли трава сочнее. Наверно, думаю, наша корова здесь. Влетел в рощу, огляделся — и такое увидел, что даже глаза зажмурил. Как будто, если раскрою снова, другое увижу. Стройные белые березки чуть не все ободраны догола. Мне, конечно, и раньше приходилось видеть березу с ободранной берестой. Но впервые я увидел

целую рощу таких берез. «Да, этот жаднюга Тынырах свяжет много берестяных посудин да туесков и распродаст». Оглядываясь по сторонам, прошел я среди раздетых берез в глубь рощи. Коровы не видать... И вдруг взгляд мой наткнулся на стоявшую рядом березу. Ее зеленая, кудрявая головка поникла, а по оголенному стволу катятся слезы. Вот и другая...

Сузились мои глаза, сжались кулаки. Побежал я назад. Догнать бы, думаю, Тыныраха, заставить выпростать содержимое куля. Но его уже и след простыл. А если бы и догнал, что мог сделать, хотя бы и сильнее его был? Разве спасешь их, оденешь снова?!

Много снегов растаяло с той поры, и на пути повстречал я немало Тынырахов. И вспоминались мне вновь и вновь те загубленные плачущие березки.

## *Соли подай!*

Избалованный мальчуган за столом капризничает, ломается, есть не хочет.

Мать пытается его уговорить. Упрашивает. Умоляет. Изводит все ласковые слова. Но мальчуган все одно не слушается.

Не зная, что и делать, мать ставит перед ним полную тарелку пряников:

— Ну, покушай, милый.

Мальчуган швыряет пряники:

— Не буду. Невкусные...

Теперь мать придвигает к нему вазу с конфетами.

— Попробуй-ка. Шоколадные. Ну, хоть немножечко.

Слушаю все это, и меня подмывает крикнуть:

— Соли ему подай, сестрица! Крутой соли!

Знаю, что ребенок мил тебе, что желаешь ему только добра. Хочешь, чтобы твой малыш стал смелым человеком, не пасовал бы перед трудностями, чтобы был он надежным и верным другом.

Но подумай, как он вырастет таким, когда ублажают его, выполняют все капризы, потчуют только сладким, холят в тепле. Как он вырастет таким человеком, если не почувствует ни крутого мороза, ни палящего зноя, ни ветра промозглого, ни пурги?

Ведь жизнь — не одно лишь ровное зеленое поле, где вначале можно играть-кувыркаться, а потом прогуливаться. Жизнь — борьба. А для борьбы нужны сильные духом, выносливые и смелые, сызмала закаленные люди.

Пусть он растет, испытывая холод и жару, непогоду и вёдро. Пусть загодя вкусит сладкое и горькое. Пусть узнает все радужные переливы жизни. Пусть ко всему приглядится своими глазами. Пусть все ощупает-огладит своими ручонками.

Пусть он взрослеет, мужает-закаляется, становится человеком. Ведь и железо проходит закалку, чтобы не переломилось на морозе, не поддалось зною. А от человека куда больше требуется...

Вот почему и говорю я:

— Соли подай! Крутой соли!

## *Легкое и трудное*

Окончив девятый класс, Витя Сыллыров на время летних каникул поступил подсобным рабочим на стройку каменного дома. И вот, начиная свой первый рабочий день, стоит он на третьем этаже, стены которого только начали возводиться. Перед ним родной город.

— Все дома низкие, в лучшем случае пять этажей. И еще называется столицей республики! — возмутился Витя.— Подумаешь, вечная мерзлота! И на ней, если постараться, можно строить высотные здания. Возвести бы на этой центральной улице пятнадцатипятиэтажные корпуса, расцветить фасады неоновыми огнями. Смотришь в кино, в журналах — как красивы другие города, переливаются, сверкают, в небеса вздымаются. Великолепно! А наш город — просто стыд...

Стоявший рядом пожилой каменщик Назар Уваров, выслушав тираду подростка, как-то странно посмотрел на него и принялся укладывать кирпичи.

Когда рабочий день кончился, Витя окинул взглядом свежую кладку и изумился, как мало сделано за этот долгий день. Утром ему казалось, что до вечера полностью уложат один этаж. И вот результат: стены только

чуть-чуть поднялись. А ведь все работали как заведенные... Сам-то он, оказывается, слабак: своими руками ни одного кирпича не уложил, подносил, подавал, подсыпал — только и всего, но вконец измотался. Руки и ноги ломит, поясница, чуть пошевелишься, огнем горит. Неужели каждый день так будет? Не хотел перечить отцу — это он советовал идти на стройку...

Прошел месяц. Назар Уваров и Витя, пообедав, сидели на пятом этаже, прислонившись к стене, грелись на солнышке. За этот месяц Витя не только втянулся в работу, но и привязался к своему молчаливому напарнику.

— Витя, вот тебе две загадки,— сказал улыбаясь Назар, запрокинув лицо в теплое летнее небо.

— Какие?

— Что на свете самое легкое?

— Водород,— уверенно ответил Витя.

— Нет, не то.

Витя начал перечислять все известные ему легчайшие предметы и вещества. Но Назар мотал головой: не то.

Пришлось Вите сдаться.

— Не могу отгадать.

Назар медленно погладил пальцами усы.

— Ну, коли не можешь, скажу. Разгадка-то совсем простая: охайвать. Ведь и в самом деле, нет ничего легче. Не так ли?

— Да, так.

— А теперь вторая загадка: что самое трудное?

— Строить...— тихо ответил Витя.

## *Превеликое спасибо*

В воскресенье мы прикатили на рыбалку к старику Испену, о котором знали только понаслышке. Худенький он, как набирающий рост мальчонка, лицо костлявое с клинышком редкой бородки. Говорят, что старик этот здесь, на берегу реки, летует каждый год. Встретил он нас радушно, словно давних знакомых. Уступил нам все: и место в палатке, и посудку, и снасти.

Плотно подзаправившись, мы приготовились к рыбалке, а тут наш Илья, молодой рассеянный парень, который вечно теряет что-нибудь из своих вещей, поднял шум.

— Кошелек у меня исчез. Все у меня там. И крючки тоже. Когда выходил из машины, здесь был,— Илья порылся в пустых карманах куртки.

Мы переглянулись. Опять этот растяпа портит нам настроение. Никто не видел, где он посеял свои сокровища.

— Погоди,— сказал старик, тяжело поднявшись на ноги.— Надо посмотреть там, под листовницей, где давеча выгрузились, что-то там валялось,— и, сгорбившись, заковылял к сложенным в кучу рюкзакам.

Вскоре оттуда послышался его голос:

— Это, да? — старик держал в руке черный подковообразный кошелек.

Парень метнулся к нему.

— Да, он самый и есть. Ну, старина, спасибо. А то думал — потерялся... Спасибо вам, превеликое спасибо, — и, сунув кошелек в карман, во всю прыть кинулся к реке.

Старик, как проливший молоко ребенок, понуро, ни на кого не глядя, подошел к костру.

— А чего это он так больно горячо благодарит, паренек-то ваш? За что? — пробормотал он.

— Вы же нашли ему кошелек. Поэтому и благодарит, — ответили мы, торопясь к реке. Но наш ответ старика явно не удовлетворил.

— «Спасибо, превеликое спасибо», куда уж... Будто невесть какое добро я ему сделал. Пожалуй, он меня... — старик Испен посмотрел на нас с неприязнью. — Говорит, когда приехал, кошелек был при нем. А раз так, чего ж ему расстраиваться? Никуда бы его кошелек не делся, раз подле палатки... Видно, подумал, что я украл. Потому и обрадовался, благодарил, когда пропажа нашлась.

— Нет, нет, отец, что вы! Не говорите так! — успокаивали мы его. — Наш товарищ просто обрадовался, что вы нашли кошелек. А благодарить принято — такой обычай.

Наши объяснения старик и на этот раз не принял: — Тоже мне обычай...

Через некоторое время, за которое могло бы свариться в горшке мясо, я с хорошим уловом вернулся к палатке. Старик Испен сидел у потухающего костра, зажав в руке жиденькую бородку. Лицо хмурое. Услышав шаги, глянул на меня, приподнял голову и, посидев в такой позе, тихо произнес:

— И чего это парень так благодарил меня?

## *Потому, что больно скромн*

— Э, да какая сила у меня, чтобы слух обо мне ходил? Да и не люблю хвастаться, рассказывать о себе. Разве только уважу ваши настойчивые уговоры, поведаю об одном случае.

А было вот что.

Встарь еще на восточной окраине аласа, где мы жили, прямо посреди проезжей дороги, лежал огромный валун. Пудов этак тридцать. И конные, и пешие — все его обходили.

Долго он мне глаза мозолил. Сколько, думаю, преграждать дорогу будет, надо его спихнуть к обочине. И однажды обхватил его и — гых! — оторвал от земли. Приподнял. Еще и еще выше. До колен довел. Вдруг гляжу: голени-то у меня, как бычье ярмо, согнулись дугой, а ступни в землю ушли. Без ног остаться, что ли? Голени-то так искривились, могут и переломиться — черту на закуску. Выпустил камень. Столько лежал — пусть еще полежит.

А как выпустил камень, голени у меня тут и выпрямились. Земля продавленная вспучилась — и ступни мои проступили наружу.

Вот как удалось мне под камень — глыбу тридцатипудовую — ветерка свежего-то впустить. А никто про это и слыхом еще не слыхал. До смерти не люблю всякую чепуховину сказывать да присочинять. Это, поди, потому, что я больно скромн.

## «А вот так!»

Остался как-то Наара Суох<sup>1</sup> на ночь в юрте у одного зажиточного якута. Был там в ту пору еще один ночлежник: почитаемый в улусе бай. Хозяева приняли Наара Суох с холодком и все свое внимание уделили почетному гостю, вертелись и крутились вокруг него. Похвалялся бай, возлежа на почетном месте — биллирик-ороне<sup>2</sup>, потчевал хозяев всякими рассказями. А Наара Суох сидел и досадовал: все вкусное да лакомое перепадет этому прожоре, а ему, считай, что-нибудь дрянное.

Когда с тагана, стоявшего на камельке, сняли горшок с варевом, Наара Суох, перебив почетного гостя, заговорил нараспев:

— Слышал я, этот мир срединный, наш мир земной, что с водой бегущей, деревьями падающими, — круглый, как мяч...

— Э, не болтай! — цыкнул на него хозяин дома.

---

<sup>1</sup> На а р а Су о х — герой якутских народных сатирических рассказов.

<sup>2</sup> Б и л л и р и к - о р о н — нары, расположенные напротив входа, в глубине юрты, под образами.

— Да разве это болтовня. Сам слышал, как люди говорят. Мозги-то у них покруче моего замешены. Еще слышал: людей тех батюшка в церкви...— без умолку тараторил Наара Суох, не сводя глаз с хозяйки, перекладывавшей карасей в большое деревянное блюдо.

Домочадцев и ночлежников позвали к столу. Видит Наара Суох: ему указывают место как раз там, где на деревянном блюде выложены самые мелкие карасики, а баю — там, где что ни на есть крупные, почти с рукавицу каждый. Усаживаясь, Наара Суох загорланил еще запальчивее, чем прежде:

— И этот наш круглый мир, говорят, вертится!

— Ка... как? — удивленно промолвил бай, потянувшийся за карасем.

— А вот так! — Наара Суох ловко повернул деревянное блюдо и, когда выложенные для почетного гостя караси оказались под носом, схватил самого крупного...

## *Савва Сатыров в лисьем воротнике<sup>1</sup>*

У торгового работника Саввы Сатырова разболелся живот. «Скорая помощь» доставила его в больницу. Кто знает: перестарался ли он по части горячительных напитков, или была другая причина. Пощупав его живот, врач сказал:

— Завтра начнем делать анализы, чтобы установить диагноз. А пока назначаю вам постельный режим.

Здоровенный, краснолицый Савва Сатыров выслушал это, сидя на кровати, и, как бык, которого хватили обухом по лбу, опрокинулся навзничь. Некоторое время он лежал неподвижно, уставившись в потолок. Потом шлепнул себя ладонью по лбу и сразу приободрился, стал шутить, смеяться.

Наутро, наскоро ополоснув лицо и проглотив завтрак, Сатыров развил бурную деятельность. Раздобыв лист бумаги и ручку, он начал выпрашивать фамилии и ини-

---

<sup>1</sup> Есть якутская пословица: «Кто ловок, тот носит лисий воротник».

циалы работников больницы — от санитарок до главного врача. Затем вытребовал у дежурной сестры «Книгу жалоб и предложений». И тут же принялся строчить благодарности всем работникам больницы, не пожалел для них хвалебных слов, написал столько, что, как говорится, не потянет запряженный в сани вол, не выдержит хребет ломовой лошади: за «трогательно-чуткое внимание», «за материнскую заботу», «за хорошее, старательное лечение...»

И расписался четко, ясно, так что мог бы прочесть без запинки и малограмотный: «Больной из второй палаты Савва Сатыров».

Соседи по палате наблюдали за этим его занятием — кто с недоумением, кто с улыбкой. Один из них, школьник, удивленно спросил:

— Дяденька, ведь в больницу-то вы только вчера попали. Так откуда же вам известно, что здесь хорошо лечат?

— Ну и что, хоть и не знаю, а захотелось мне — и написал.

— Да вы из этих людей многих еще и в глаза не видели...

— Хо, ерунда! — Сатыров принялся размахивать книгой, чтобы подсохло написанное. — А хотя бы не знал, не видал, чего же скупиться на ничего не стоящие мне благодарности? Не из своего же кармана достаю. Хоть тысячу раз буду благодарить, и то, самого маленького, с блоху, не потерплю убытка. Столько благодарностей получили — стыдно им будет, если плохо станут лечить. Умразума мне не занимать, как только попал в больницу, так сразу же все скумекал.

— ???

И Сатыров щелкнул глядевшего на него паренька по лбу.

— Эх ты, охломон! Никогда, видно, не носить тебе лисьего воротника. Откуда только такие дураки берутся?! — возмутился он. И держа «Книгу жалоб и предложений» раскрытой как раз на той странице, где он старательно вывел свою подпись, отправился к сестре.

## Собеседники

В молодости окончивший десять классов, потом побывавший на разных курсах и потому считающий себя достаточно образованным, корреспондент районной газеты беседует со стариком колхозником. Они сидят на обрубке дерева во дворе, заросшем травой.

— Сколько же фуражных коров на ферме вашего участка? — спрашивает корреспондент, листая блокнот.

— Что-что?

— Спрашиваю о количестве фуражных коров?

— Бура-а-сыпай, говорите?.. А что это такое? Так ведь прежде когда-то кепку с блестящим лаковым козырьком, с твердым ободком называли — бура-аска.

— Не-ет, я не о фуражке, — спокойно поясняет корреспондент. — Спрашиваю о количестве коров. Дойных.

— Э, это дело другое, — понял, наконец, старик. — Тыщи, кажись, полторы? Спросите у заведующего фермой — он скажет точно.

— Как вами выполняется план по производству молока?

— Что говорите, производить? — склонившись к корреспонденту, старик приставил к ушам ладони.

— Молоко. Производство молока!

— Нет, не знаю. Как это можно производить молоко, оно же не стол и не ушат? На фабрике разве? — И старик пояснил, как маленькому ребенку: — Корову доят...

— Во! Во! Я как раз об этом,— перебив его, загорелся корреспондент.— Как план у вас выполняется?

— Выполняем. Выполняем.

— А какой процент жирности молока?

— Что сказал, сынок? — помягчавшим голосом переспрашивает старик, казнясь про себя, что не понимает вопросов собеседника.

— Жирность молока?

Не отрывая ладони от ушей, колхозник глядит в лицо корреспонденту.

— Откуда в молоке жир? Не мясо, чай, откормленного скота...— И, помолчав, вздыхает.— Из молока сливки, масло...

— Я спрашиваю насчет жирности! Жирности!..

— Жир-то выяснится осенью, при забое.

«Тьфу! Из ума выжил, что ли!» — злится корреспондент. Но сдерживается. Он у этого старика — пастуха фермы — должен взять интервью для газеты. А без беседы как напишешь?

— А в среднем за эти летние месяцы по сколько молока дают? — говорит корреспондент, озираясь вокруг, и для ясности указывает рукой на корову с огромным выменем, что пощипывает травку за изгородью подворья.— К примеру, вот она сколько дает?

— Кто, сынок?

— Она! Она! — корреспондент тычет авторучкой в сторону коровы.

— А кто еще там? — старик приставляет руки к гла-

зам. Сощурившись, всматривается.— О, воистину старость — проклятье. Кто же там стоит?

— Корова, полосатая корова!

— Ты про эту корову? Полосатку? Ее-то я вижу,— говорит старик, радуясь, что глаза его пока видят неплохо.— А говоришь: «она, она». Будто доярка там какая. По-якутски ведь только про человека говорят обычно «он», «она». Ни собаку, ни корову так не кличут. Молочка-то у Полосатки многонько. Девушка-учетчица, поди, хорошо знает.

«Бесполезно дальше беседовать»,— думает корреспондент.

— Ну, хорошо, можно справиться и у учетчицы.— Он захлопнул блокнот.— В заключение вы, пожалуйста, ответьте на один вопрос. Только от сердца. Правдиво.

— И отвечу, сынок. Покуда ни разу не врал. Люди подтвердят.

— Вы, как я знаю, на ферме самый старый, авторитетный работник. Скажите: как вы относитесь к заведующей фермой?

— Я-то?..— старик умолк на некоторое время.— А это... так... я-то никакого... отношения не имею. Хэ, «отношение...». Это насчет загадок говаривали: к чему, мол, относится? Сынок, не серчай, как это попроще-то будет, то, что спрашиваешь?

— Нравится или не нравится? — Корреспондент и сам не заметил, как громко крикнул, будто старик туговат на ухо.

— А-а, ты про это! Нравится, нравится! Хорошая работница. Тебе бы спросить: «Какая работница?» А к чему это «отношение»?!

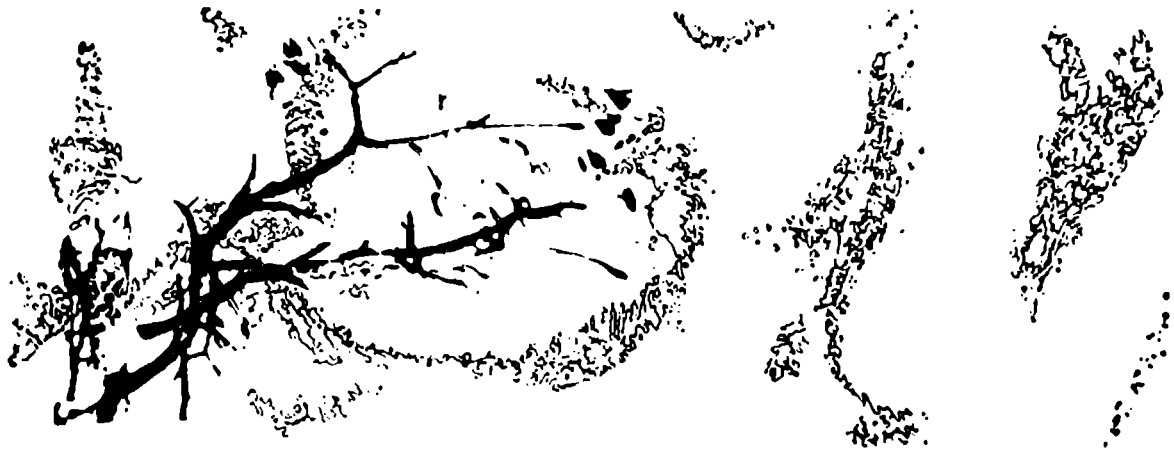
— Смотри-ка, каков шутник! — не совладал с собой

корреспондент.— Прикидывается, будто и в самом деле не понимает моих вопросов!

— А ты говори по-якутски,— нахмурился старик.

— Я разве по-иностранному? По-якутски ведь говорю.

— Уж не знаю, по-иностранному ли говорил, или еще как.— Старик, давая знать, что не настроен продолжать беседу, приподнялся с обрубка бревна.— По-якутски-то не умеешь говорить, это уж я знаю, милоч!



## *Волосяная подошва*

Знаете вы или не знаете, слышали вы или не слышали,— жил в нашем наслеге человек по прозвищу Ночной ходок Волосяная подошва. Одно о нем говорили: вор, скот крадет. Но так это он ловко, тихо проделывал, что ни разу его никто не поймал. Бывало, в середине лета пропадет у кого-нибудь из зажиточных хозяев гулевая скотина. Ясное дело, подозревали Волосяную подошву. А как докажешь?..

Так и проходили годы. И хоть за руку его никто не поймал, а от народной молвы никуда не денешься.

Но вот пришла новая, советская власть.

То ли остепенился Ночной ходок, то ли потому, что зажил без нужды, только скот в наслеге перестал пропадать.

Малые дети подрастали, спрашивали: «За что так зовут человека — Волосяная подошва?» Взрослые посмеивались: «Смолоду слишком легкий был на ногу...»

Колхозы тогда только организовывались. И летом в страдную пору люди не объединялись в большие брига-

ды, как теперь, а работали по двое, по трое — по-соседски.

Одно лето косил Волосяная подошва с Уйбаном, молодым, веселым, бойким на язык парнем, жившим в соседней елани.

И вот как-то под вечер Волосяная подошва хитро посмотрел на своего напарника и сказал, словно между прочим:

— Каждый день все лепешки да лепешки... Приелось! Смотреть на них тошно. Мясца бы отведать... Как ты на это смотришь, Уйбан?

— Сам об этом думал... На утят, что ли, поохотиться?

— Тьфу! Да, что ты, друг? Разве это мясо? Что ел — что не ел. Я тебе о настоящем мясе говорю. Пожевать бы, пока зубы есть...

— Где ты такое мясо в середине лета достанешь?

— И-и-и... Дело-то нехитрое, стоит только захотеть... Один раз завел такую речь Волосяная подошва, другой, третий...

Уйбан и смекнул, что старый решил за свое прежнее ремесло взяться. Значит, не выдержал Волосяная подошва, глядя на гулевой колхозный скот в соседней долине.

Прошло несколько дней. Волосяная подошва сказал Уйбану прямо:

— Ну, Уйбан, ты как хочешь, а я в эту ночь мясо есть буду.

— Спятил, что ли? Ведь это разбой, воровство, — пытался урезонить его парень.

— Брось всякую чушь пороть. Если Волосяная подошва сказал, — значит, все. Лучше ответь: будешь мне помогать или нет?

— Нет.

— Ну, парень,— грозно посмотрел на Уйбана Ночной ходок.— Я ведь все вижу — так бы ты сейчас и сорвался в правление... Да только тогда на самого себя обижайся. И ты в тюрьму попадешь. Скажу: вместе воровали. А выдал, мол, ты меня по злобе — добычу не поделили...

— И охота тебе в тюрьме сидеть из-за скотины,— покачал головой Уйбан.

— До сих пор не сидел,— гордо сказал Волосяная подошва,— и тебе не советую. Ведь корову-то мы возьмем яловую — кто ее до осени хватится? А там пусть гадают...

Уйбан призадумался не на шутку.

«Что делать? Оговорит, а потом доказывай, что с ним не заодно».

— Ладно, убедил ты меня, старик. Согласен. Конечно, грех воровать, но что делать, мяса-то в самом деле хочется. А если поймают, вместе в тюрьме сидеть будем — все веселее. Но только я на тебя крепко надеюсь. Недаром же ты Ночной ходок Волосяная подошва!

— Вот это ты правильно сказал! — обрадовался старик.— Я-то, пожалуй, в темноте не отличу теперь гулевую корову от дойной. А ты парень молодой, видишь хорошо. Чего тебе стоит? Только самую жирную выбирай. Помнишь, у меня в лесу, позади юрты, маленький загончик есть. Так вот ты ее туда, да побыстрей, да уговаривай ее, чтоб не мычала. А дальше — не твоя забота. Побалуемся убоинкой, доволен будешь.

Все и вышло, как договорились. В темную дождливую ночь Уйбан привел в тот загончик жирную гулевую корову. Волосяная подошва знал свое дело: забил корову, освежевал. Уйбан пришел туда под утро и унес на плечах домой чуть не полкоровы.

День ели, другой ели. Волосяная подошва все похва-

ливал Уйбана: «Ну, парень, не ожидал. Ловкий ты, оказывается. Самую жирную приволок. Очень вкусное мясо»

А старуха Майыс, жена Волосяной подошвы, целый день бродила по окрестным долинам и еланям. Корова у нее потерялась, яловая, с белым пятном на лбу. Чуть не у самой юрты паслась — и вот на тебе, пропала.

Вернулась домой ни с чем, а Волосяная подошва ей и говорит:

— Где это тебя носит? Мясо бы сварила, что ли. Помнишь, как в бывалое время... Тайничок мой еще не была? Ступай! Что глаза вытаращила?

Пошла Майыс в лес, еле отыскала там тайник, откинула свежее сено, глядь, а перед ней голова ее комолой коровы с белым пятном на лбу!

Майыс задыхаясь побежала к юрте.

— Ты что с пустыми руками? Не нашла? — спросил Волосяная подошва.

Майыс схватила обгорелую деревянную кочергу.

— Дьявол слепой! Свою же корову загубил, старый дурак! И еще за мясом посылает!

— Что ты говоришь?!. Наша корова... Значит, этот мошенник... — бормотал Волосяная подошва, защищая голову руками.

У парня в самом деле было хорошее зрение: еще издали он увидел большой синяк под глазом у своего напарника и сразу догадался, что произошло.

Волосяная подошва подбежал к нему, замахал кулаками:

— Ах ты сволочь, мерзавец! Мою же корову пригнал.

— Неужели? — удивился Уйбан. — А вообще-то все может быть... Ночь была темная... Я самую жирную

выбирал. Может, и твоя. Корова ж мне об этом не сказала.

— Собачий сын, плати за полкоровы!

— Я ведь получил свою долю за то, что ее пригнал. Думаешь, легко было в такую темень? Ты же сам меня научил. Пойдешь жаловаться, так и скажу.

Что оставалось делать Волосяной подошве?

## Добряк

— Не занято? — спросил Устин Иванович Огоньоров. Одной рукой он держал поднос с тарелками, другой прижимал к боку портфель.

За столиком сидел человек с взлохмаченными волосами. Он был в старой телогрейке, выпачканной краской и известкой. Не глядя на Огоньорова, ответил:

— Садитесь.

Устин Иванович ел торопливо. Невкусно, конечно, готовят в этой столовой. А в ресторан далеко, да и ждать пришлось бы, наверно. Ну и проголодался — целый день проторчал в «Холбосе». Подумать только, республиканская контора, руководят торговлей в сельской местности, и в такой солидной организации нельзя даже пообедать! Буфетишко какой-то, бутербродики, чай. Теснота, повернуться негде. Тоже мне, республиканская контора. Возмущаясь и предаваясь подобного рода критическим мыслям, Устин Иванович съел щи и взглянул на своего соседа. Тот сидел, низко опустив голову, над кружкой с пивом. «Пьяный, что ли?» — подумал Устин Иванович. Человек поднял глаза. Вилка с макаронами замерла в руке Устина Ивановича.

— Да ну?.. Это ты... Федорка, что ли?

Человек провел рукой по волосам, скривил обветренные губы, усмехнулся:

— Узнал, значит?..

— Узнал, как же! — Устин Иванович повеселел, заулыбался. — Ну и что ты так сидишь? С одного пива сыт не будешь. Почему не обедаешь? Денег нет? А может, мы по случаю такой встречи по рюмочке?..

— Нет, не надо.

— Э-э, не стесняйся! Слава богу, зарплата идет, не обеднею. Давай выпьем... Ну, как знаешь.. Встретились все же... Пить не хочешь, так хотя бы поешь.— Устин Иванович вытащил из кармана пачку измятых денег и бросил на стол одну бумажку.— Да ты не скромничай! Я тебе в свое время больше помог. Все равно мне обязан — на трешницу больше, на трешницу меньше... Я ведь тогда к тебе как к сыну отнесся... Поддержал. Помнишь, когда ты у меня на складе работал? Хотя, конечно, не очень большая была недостача, но все же... Шуметь не стал. Ведь мука дело такое — мыши, сам понимаешь, усушка, утруска... Ну и списал... Думаю, человек молодой, все еще впереди... Да, был грех... До суда бы, конечно, не дошло, а вот платить бы пришлось. Высох бы весь. А мой заместитель не так на это дело смотрел. Ну да я его уговорил.

Человек в телогрейке сидел молча, держа между ладонями кружку с пивом.

— Значит, есть не будешь? Ну ладно, что ж делать, раз человек не желает... Странно как-то. Совсем тебя не пойму. Я тебя угощаю, от меня ты только добро видел... Да что с тобой, что сидишь как каменный?

Устин Иванович не на шутку обиделся, взял со стола трешницу и сунул ее в карман.

— Где это ты так вымазался? Здесь, в городе, работаешь или где?

— В городе, в строительном тресте, маляром.

— И давно тут? Прямо как от меня ушел?

— Нет, не прямо. Сначала в другом районе... Тоже на складе. А потом... потом — в тюрьму, — зло закончил Федор и отставил стакан. — Понял?

Глаза Устина Ивановича расширились.

— Ну да?.. Как же ты так попался? Наверно, подвел кто-нибудь?

— Подвел.

— А кто?

Федор наклонился к Устину Ивановичу и сказал, смотря на него в упор:

— Ты!

Устин Иванович отпрянул:

— Что говоришь, парень?

— То и говорю, что ты меня подвел! — Федор встал. — Ты! Ты довел до такой жизни. Покрыл первую недостатку. Добряк! А дал бы тогда острастку — не сидеть бы мне два года. И еще тут распинаешься, распеваешь, какой ты хороший. Таких хороших сажать надо. Понял? Мне и смотреть-то на тебя противно, а еще говоришь — выпить...

Федор повернулся и пошел между столиками к выходу.

Устин Иванович не сразу пришел в себя.

— Ну и ну! Оговорил, обругал, обхамил. Я к нему как к человеку, а он... Пьяный, что ли?

## *Глаз художника*

Был, говорят, один купец, так поднаторевший в своем деле, что каждый грош у него оборачивался пятью, а рублевка — сотней... До того он разбогател, что стал забывать, как его раньше звали. Овдовел он рано, осталась у него дочь, единственная. Днем солнышком, ночью лунной была она ему, отцу-то. А уж избалована... И то сказать, в роскоши кувыркалась, так не ей ли выкамариваться в шелках и парче, золотом да камешками драгоценными расшитых. Лишь стоит топнуть — и все, хоть звезду с неба, достань и выложь перед ней. Ну, а в дому-то владычицей была. Прихотливой. Своевольной. Кулачок-то у нее малюсенький, а как больно бьет! И ногами она пинала служанок, и за волосы их таскала. А с отцом ласкова была, среди людей слыла тихой скромницей. Поглядеть на нее любо-дорого. Стройный стан — как озерный тростник, что под ветром игриво качается. Лицо белое, что нетронутый утренний снег. Глаза яркие да лучистые, шейка нежная, лебединая. Голос чист и певуч, как у самки стерха<sup>1</sup>. Словом, лучше ищи, да не сыщется.

---

<sup>1</sup> Стерх — белый журавль.

Прослышал однажды купец о художнике, который так людей рисует, что на портретах они словно живые. И вот решил купец заказать ему портрет своей дочери — и откладывать не стал. Призвал он к себе художника и говорит:

— Слышал я, срисовываешь ты людей так, что только ходить не умеют твои портреты. Напиши портрет моей дочери, моего красного солнышка, моего светлого месяца. Она у меня и сама-то загляденье. Тут тебе выдумывать, нечего. Нарисуй так, как есть, да и только. Понял? Пущай жавороночек мой ненаглядный в старости показывает людям: вот-де какой я была молодешенькой. Сделаешь на совесть — хорошо заплачу!

Начал художник рисовать дочку купца. Подвела она сурьмой брови. Сидит перед ним в шелках да парче, драгоценными камешками украшенная. День прошел, другой... Надоело ей сидеть:

— Чересчур медленно рисуешь ты. Без меня закончишь.— И была такова, только пятки мелькнули.

Художнику что делать, пришлось дорисовывать.

Закончил работу, принес ее купцу. Тот, глянув на портрет дочери, ахнул от восторга. Из золоченой рамы глядит красавица прелестная. Любуется купец, то в сторону отойдет, то подойдет ближе, голову набок склонит, словно приценивается.

Но чем дольше он вглядывался, тем больше притягивал его портрет, и смутно становилось у него на душе. Вроде бы родная дочь на портрете, все черты ее, а смотрит на него не она, а совсем другая женщина: алчная, хищная, у которой аспидно-черный ум, а вместо сердца камень.

Смотрел купец и мрачнел. Молчал и злобился. А потом до того разгневался, что даже заикаться стал:

— Бродяга! Что... что это ты намалевал? Это... это кто? По-твоему, это моя до-до-дочь?! — завопил он. — Это, по-твоему, мое красное солнышко? Это же... бесова девка, дьяволица. Как ты не мог разглядеть своими буркалами того, что перед твоим носом! Убирайся отсюда, плут несчастный! Или ты денег ждешь за эту мазню? Эй, хватайте его да выбросьте за дверь!

Распорядившись так, купец, пока люди не видели, поспешил бросить портрет в огонь.

С тех пор прошло много лет.

Купеческая дочь вышла замуж. Уговорила отца все состояние на нее записать. А потом они с мужем и выставили старика из его родного дома. Гроша ломаного не дали. И стал несметно богатый, вольготно живший купец уличным бродягой, которого даже собака не облаивает и корова не удостаивает мычанием. Намаялся купец досыта. И вот как-то раз повстречался он с художником и, причитая, рассказал, как жестоко обошлась с ним дочь.

Иной бы посмеялся над купцом: поделом, мол, тебе, или посочувствовал: «Эх, бедняга!» А художник промолчал. Лишь в уголках его губ обозначилась грустная улыбка.

— Не будем ворошить минувшее, — сказал купец. — Вот только одна просьба. Расскажи, как ты сумел в ту пору... разглядеть?

— Что?

— Лицо моей дочери. Нутро ее.

— Глазом художника, — ответил тот и, чуть приподняв свою облезлую шапку, пошел дальше.

## *Самая красивая женщина*

Поспорили: как выглядит самая красивая женщина? Один любит жгучие, черные глаза, другой — серые с голубизной, а кто — карие, улыбчивые. Одному нравятся короткие волосы, другому — длинные, льющиеся до пят. Один восторгается рослой, статной, другой — маленькой, легкой, изящной. И каждому свои приметы кажутся единственно верными. Все попытки разубедить друг друга ни к чему не привели.

Пошли к умудренному жизнью старцу. И говорят:

— Мы вот заспорили и никак не можем договориться. Скажите, почтенный человек, какая женщина самая красивая?

Долго глядел старец на голубеющие за облаками вершины далеких гор и, светло улыбнувшись, ответил:

— Молодая.

## Старинное предание

Жил, говорят, Грозный Бай, прославившийся своим ледяным сердцем. Никто не мог выдержать его страшного взгляда. Никого он не щадил. Грабил людей, ничего не оставлял им. Отбирал у конного плеть, у пешего — посох. И чем дальше, тем жаднее становился.

От его притеснений совсем приуныл народ, как говорится, красное солнышко стало тускнеть, белое солнышко стало мрачнеть. Убежать бы пастухам и дровосекам от Грозного Бая, да некуда: провалиться в землю — земля тверда, улететь в небо — небо высоко. Так им, бедным, и привелось жить-горевать, слезами омываться.

Был у этого Бая рабом-нэктэлом<sup>1</sup> один паренек. Сызмала привык он к брани, тумакам да зуботычинам. Десяти лет ему не исполнилось, когда Бай посохом убил его отца.

Проползли черные, как сажа, годы.

Вымахнул в рост паренек, раздался в плечах. Под лохмотьями мускулы взбугрились. В глазах засверкала сила, голос стал железно-твердым.

---

<sup>1</sup> Р а б - н э к т э л — раб, исполняющий всякие грязные работы.

Но и теперь не смел он перечить Баю. Затаив в сердце кровавую обиду, был, как прежде, его рабом покорным. Скажут «Эй!» — замирал и слушал, скажут «Ну!» — спешил, торопился.

И вот однажды парень этот увидел девушку. Таковую же, как и он сам, горемычную сиротку. Красавицу из красавиц. Добрую из добрых. Полюбили они друг друга, размечтались, как будут жить, как воскурится клубками дым их очага.

Как раз в ту пору и высмотрел девушку Грозный Бай. А как высмотрел — приказал схватить ее и привести к нему.

Куда там парню-бедолаге тягаться со своим тойоном-властелином. Умываясь с горя-обиды слезами, ушел он в тайгу. Находившись, намаившись, выбился из сил, ухватился за березку, что росла под огромной раскидистой лиственницей. Стоит и думает: куда теперь деться, — впереди ни прохода с ямку из-под копыта, позади ни про света с жерло ступки. И удумал бедолага согнуться, разлучиться с матерью-землей. Посмотрел на нее сквозь слезы и молвил со стоном:

— Родившись в этом срединном мире, жизни не вкусил, счастья не познал. Только ты одна, земля, и утешала-радовала меня.

С этими словами развязал он свой пестрый волосяной поясок и поднял было руку, чтобы закинуть петлю на корявый сук, как вдруг березка, за которую бедняга ухватился вначале, зашумела и прямо на глазах исчезла, и тотчас же в правой руке парня очутился сверкающий обоюдоострый меч, а в левой — лучистое, острое копье. Парень, вздрогнув от неожиданности, взмахнул мечом — и могучие, кряжистые лиственницы, словно бы травы, по-

валились срубленные. Двинул копьём — крепкие, свежие листовенницы пополам раскололись.

Рассекая широкие глухие леса, перебегая раздольные равнины, молнией примчался парень, с поднятым копьём и лучистым мечом, в хоромы Грозного Бая. Охранники и слуги Бая испугались, забились под нары. А парень, нацелившись копьём в ледяное сердце Грозного Бая, крикнул:

— Рожон<sup>1</sup> твоих грехов нанизан до отказа, приспела пора возмездия! Говори свое заветное слово!

Дыша вполдыханья, ответил ему Бай вот что:

— Думалось мне, не пройдёт время моего владычества, не окончится день моего своеволия. Поэтому хватил через край, брал на себя много. А оказывается, всему суждено проходить, и не защитят меня звонкие золотые монеты, не выручит меня крикливое богатство. Однако и ты не торжествуй загодя. И я по молодости доброе думал... Взберешься на хребет раздорной власти, угодишь в полон бешеных денег и тучного богатства, обретешь звериные повадки, обретешь и мою судьбу.

— Лжешь! — в гневе закричал парень и пронзил его копьём.

Тут и охранники и слуги Грозного Бая шмякнулись к ногам парня, забились в низких поклонах. Потом повели его с собой во двор, распахнули амбары. Пробежав взглядом по дорогим мехам в раздувшихся сумах, по грудам золотых и серебряных монет, парень обомлел, закружилась у него голова, в глазах зарябило. Отбросил прочь копьё и меч и, вскрикнув по-вороньи, завыв по-волчьи, грохнулся ничком на груды монет и принялся

---

<sup>1</sup> Р о ж о н — острый кол.

подгрести их под себя. Рывкая на слуг, заставил набрасывать себе на плечи соболиные и лисьи шкуры.

В это время где-то поблизости раздались песни. Слуги, выглянув за ворота, сказали:

— Народ радуется, что наконец-то избавился от Грозного Бая. Что делать — пустить их в дом или позвать в амбары?

— Не болтайте! — гаркнул парень, продолжая подгрести под себя золото и пушнину. — Сейчас же все двери на запоры! Чтоб и духа их не было здесь! Не подпускать никого! Все это — мое! Мое! Только мое! Я хозяин! — И он продолжал подгрести к себе и под себя лежащее вокруг него добро.

Видят слуги и охранники, парень в одночасье переменяется обликом: спина раздалась, ссутулилась, лицо обрюзгло, глаза налились кровью, зубы превратились в клыки, ощерились. Нахватавшись золотых монет, пальцы растопырились, скрючились. Точь-в-точь Грозный Бай...

Задрожали слуги и охранники и со страху пали на землю.

А из темного угла амбара высунулось, говорят, лицо Грозного Бая, и послышался жуткий дьявольский хохот.

В ту пору и народилась наставлявшая уму-разуму многие поколения поговорка: «Не страстись к деньгам, не зарься на богатство».

## *Громко не говори...*

Помню, в середине тридцатых годов, в начале августа, я, тогда подросток, перебирался из нашего аласа в город на учебу. Спутником моим был сын Касьяна Митээс — так прозывали в ту пору Дмитрия Касьяновича Петрова. Ехали мы верхом на лошадях.

Митээс — парень лет двадцати. Шустрый, разговорчивый. Весной он окончил сельскохозяйственный техникум и, погостив у родственников, ехал теперь в Якутск, чтобы оттуда двинуться дальше — в Вилюйск, куда его назначили зоотехником.

Перед тем как тронуться в путь, Митээс спросил:

— Ружье с собой не берешь?

— Зачем же мне оно в Якутске?

— А если на медведя нарвемся, что тогда?

— Запалим ему доху, — пошутил я. — Осенью, говорят, хорошо загорается.

На второй день пути пришлось нам ехать по растянувшейся на шесть кёс<sup>1</sup> лощине. С обеих сторон ее —

---

<sup>1</sup> Кёс — якутская мера расстояния, равная примерно десяти километрам.

невысокие лобастые сопки, сколько ни гляди, не увидишь дымка, кругом ни души.

Лошади наши шагают рядом, и Митээс, чтобы скоротать время, рассказывает о том, где и когда в округе этой шkodничал медведь, паскудил путникам. Сперва слушаю с интересом, а потом начинает надоедать. Уж больно случаи походят друг на друга, — кажется, меняются только имена пострадавших и даты. А Митээс знай себе тараторит — не иначе как на всю дорогу запасся сказками. После полуденного привала только вид делаю, что слушаю, лишь бы не обиделся. Ему-то невдомек, что мне осточертели все эти рассказы...

И вот неожиданно Митээс примолк, рукою показывает вперед:

— Смотри, медведь... вон бежит!..

А я нуль внимания. Кто же, в самом деле, поверит? Только что ехал да заливал всякие небылицы о проказах медведей — и вдруг говорит: вон, мол, медведь! Нет, думаю, меня ты не испугаешь. Давая ему знать, что насколько мне не страшно, даже и не гляжу, куда он показывает.

— Вправду, оказывается, медведь! Скорее надо вон до того мыса доскакать.

Голос моего спутника изменился. Я глянул в ту сторону, куда он показал. И верно, по ту сторону лощины, параллельно с нами, только чуть впереди, на расстоянии примерно полверсты, мельтешит что-то черное, из пожухлой прошлогодней травы то голова выныривает, то зад. Недолго думая, я хлестнул коня.

— Это что, правда медведь? — спрашиваю.

— Не узнаешь, что ли? — со злостью шипит спутник. — Вон, на мыске, в тени деревьев остановимся. Как бы не увидел нас.

Как же, не увидит он! Мы уж почти домчались до мыса, как медведь вдруг присел на бегу и стал подбираться прямо к нам.

— Увидел! Ну, живее! Слезай с коня! Костер разожги!

Привязав наскоро коня к листвянке, я засуетился, торопясь развести костер. Огонь тоже с норовом: мигом займется, если ему заблагорассудится, а когда тебе приспичит, не скоро его получишь — то спички к черту переломятся, то веточки не подхватят пламя.

Вдвоем, лихорадочно хлопоча, мы все-таки разожгли костер.

А медведь все ближе и ближе...

— Что за дурак?! Слепой, что ли, не видит, что люди мы приезжие? — начал нервничать Митээс. — Подброська в костер ягоднику, пусть задымит, зачадит.

Обеими руками сдираю дерн и бросаю в огонь. Валит густой дым. Оттого ли, что я без передышки хлопотал над костром, или оттого, что так надеялся на своего спутника, охвативший меня поначалу страх стал убывать, и я немного успокоился. Сую в костер ягодник и слышу:

— Если этой бестии вздумается лезть сюда, ты от костра ни шагу. Огнем его колошмать. А я от коней не отойду. Пусть сунется, если ему угодно...

Бедные коняги вначале били копытами, фыркали, а тут притихли, уткнулись мордами в деревья.

Между тем зверь подбирается все ближе. Поскачет, покатится шагов десять — двадцать и остановится, расхаживает взад-вперед, присядет, а потом снова — к нам.

— Видать, не случайно, а с задумкой сюда притащился. Будь у нас ружья, хоть пугнули бы. — Митээс вдруг оборачивается ко мне: — Эй, чего ты стоишь да

глазеешь, пойдн запали ему загривок! Вот он, медведь-то! И спички вот лежат, иди подожги. Там, в Мытахе, язычищем-то ой как балаганил. Ну же!

Что я ему на это отвечу? Молча сдираю дерн и сую в костер. Дым ест глаза.

— Не пойдешь?

Митээс из-за голенища торбасов вытаскивает якутский острый нож. Вижу это — и меня оторопь берет. И вдруг понимаю: теперь уж нет надобности заботиться о костре.

— Митээс, куда ты?..

Он с улыбкой оборачивается ко мне. А улыбка у него теперь совсем иная, чем прежде. Улыбаются губы, щеки, а глаза — как лезвие его ножа. Странная улыбка.

— Дружище, смотри, не обижайся — я ведь в шутку предлагал тебе...

Протирая слезящиеся от дыма глаза, я тоже улыбаюсь. Представляю, какая это была нелепая улыбка.

А зверь все ближе и ближе. Вот невдалеке, шагах в сорока, приседает и немного спустя кубарем катится к нам.

— Нет, надобно встретить его... — голос Митээса стал хриплым. — Ну, а ты позаботься о себе, соображай на ходу. Верстах в двадцати отсюда живут люди.

Сказал это и с криком — да таким, что у меня волосы дыбом встали, — бросился из-за лиственницы с ножом в руке на поляну — навстречу зверю.

Вздрогнув от неожиданного крика Митээса, медведь тяжело присел. Человек тоже остановился. И так они, человек и зверь, смотрели друг на друга. Митээс вскрикнул еще раз. Не по-человечески и не по-звериному — как-то по-другому. Жутко. Медведь заходил взад-вперед и прилег под кустами.

Митээс постоял несколько минут. Медведь все так же лежит. Не шевелится. Видимо, не встанет и не уйдет.

— Нарочно пристал, чего-то удумал, чудище,— ворчит Митээс, возвращаясь к лошадям.— Ну, садись, поехали! Нацепи бересты на палку, да побольше. И спички наготове держи. Как сунется близко.— запали и размахивай.

— Лежит ведь,— вставляю я полушепотом.

— Пускай себе лежит! Времени у него свободного о-го-го! А нам сидеть да ждать, когда он уйдет, некогда. День-то уже кончается. Ты пой-распевай как можно громче... Давай, заезжай вперед!

Вскочив в седло, я запел во всю глотку. Хоть и не горазд был на пение. Прижмет беда — не только певцом, а и черт знает кем только не станешь.

Медведь за нами не погнался, остался лежать.

К закату солнца добрались до селенья Малтанцы.

За ужином спутник мой рассказал хозяевам юрты, как мы встретились с медведем и как я грозился, когда отъезжали от дома, в случае чего запалить ему шерсть.

— Услышал, значит,— подхватили хозяева-старики, глядя на меня с укором.— Лесной хозяин потому и нашел вас, что этот оголец громко говорил о нем.

Я, конечно, не поверил, что медведь за несколько десятков километров мог услышать обидные для него слова и удумал мстить. Однако навсегда я запомнил взгляд того старика и его слова: «Не дразни зверя!»

## *Мимолетное*

Сумрачный, тусклый день... Низкое черное небо, как будто сегодня не всходило солнце. Порывистый, жестокий, пыльный ветер. Улица переворошила весь свой мусор. Холодно. Тоскливо. Одиноко.

Вчера мне довелось услышать брань от человека, про которого всю жизнь думал только хорошее. Грязную, гнусную... А почью приснилось: стою на краю скалы, вот-вот упаду, а друг мой скалит зубы — ну и погибай!

И работа сегодня у меня не ладится. Ничего не удастся. И кажется, никогда не удастся.

Сумрачный, тусклый день...

Куда деваться? Стою на углу улицы. Поднял воротник, поглубже натянул кепку, словно так спасусь от холода, что вокруг меня, и в груди, и в голове.

Снуют прохожие.

Лениво шуршат машины.

И вдруг вижу молоденькую девушку. Борта тонкого пальто распахнуты. Веснушки на лице светятся, а на губах поет улыбка. Искрятся, переливаются в ее карих глазах лучи невидимого солнца.

Прошла мимо меня, словно весенний ветерок пробе-

жал по глухой чаще. Легкая, стройная, длинноногая. Высокие каблучки чуть касаются асфальта. Сдается, стоит ей вскинуть руки — и полетит, бесшумно понесется по воздуху.

Гляжу ей вслед. И светлеет, проясняется день.

И тучи на небе, похоже, стали тоньше, и холодный ветер потеплел.

И в уличном шуме проступило что-то дружеское. И прохожие будто повеселели.

И машины побежали ходко.

Кто это сказал, что солнца нет, что в мире холодно, одиноко? Ложь!

И друг мой, сорвавшийся в злую минуту, поди, сейчас корит себя. А сон этот... Пустое. Разве друг может предать меня?

Работа не ладится. Ничего... Наверстаем. Поживем еще. Поработаем. Порадуемся.

Девушка ушла. Девушка, которую никогда не видел прежде и вряд ли еще увижу!..



### *До чего славный вечер...*

У Ульяны сон как рукой сняло. На улице раздался какой-то звук, почудились ей чьи-то шаги, будто кто-то остановился возле дома. А дверь все не открывалась. Ульяна приподняла голову с нагретой мягкой подушки, прислушалась. Затем, не выдержав, подошла к окну, посмотрела сквозь тюлевую занавеску: соседский теленок жевал сено у их забора.

Женщине стало досадно и смешно, она постояла у окна, потом вернулась, легла на кровать. И снова вспомнила про дочь. Поздно уже, а ее все нет. Наверно, и в голову ей не приходит, что родители ждут, волнуются. Ведь совсем еще ребенок. Конечно, ребенок, неважно, что в девятом классе.

Ульяна ворочалась в постели. Чуть не разбудила мужа. С рыбалки усталый пришел, потому и спит как убитый. Имеют два выходных, вот и разгулялись вволю. Сегодня хоть под вечер приехал, а то уезжают на два дня. Не хотят дома сидеть. А останутся, вроде опять неладно. Мой вот говорит: «Дома что делать, козла забивать или в преферанс играть?» Потому-то Ульяна не возражает против рыбалки и охоты. Пусть едет. Женщинам два

выходных действительно нужны, считает Ульяна, а мужчинам, пожалуй, достаточно и одного воскресенья. Иных и воскресенья надо бы лишить, пользы бы больше было.

Ой, что это загремело? Наверно, шалунишка теленок уронил медный таз, прислоненный к забору.

Осеннее солнце зашло, потускнели окна. В комнате стало сумеречно, стены словно сблизились, и в сизом воздухе предметы потеряли резкие очертания: комод, стол, стулья начали увеличиваться, превращаться в темные пятна. Беспокойство Ульяны росло. До сих пор дочери нет! Уже вечер наступил. Скоро стемнеет. И не предупредила, что задержится. Не случилось ли чего?! В субботний вечер всякие мотоциклисты, автомобилисты мчатся что есть силы. Позапрошлой весной в разгар дня сбили одного мальчишку, игравшего в мяч. Каких только бед не случается — люди всякое рассказывают...

Ульяна, стараясь не потревожить мужа, тихонько вылезла из-под одеяла и оделась. Бесполезно лежать, все равно не уснуть. Чем лежать и думать невесть о чем и мучиться, лучше самой пойти поискать. «Ну, уж найду — несдобровать дочери. Пригоню ее домой, как теленка. Безобразие, шляется допоздна, заставляет мать волноваться. Надо отучить ее от такой привычки! Да ладно, слишком-то ругать ребенка не стоит, нужно сначала узнать, в чем дело. Вдруг правда что-нибудь... Ой, нет...»

Как ни старалась женщина не шуметь, муж все равно проснулся. Не открывая глаз, прохрипел простуженным голосом:

— Куда ты?

— Дочку искать.

— Э-э, не ходи, придет... Наверное, заигралась... с подружками...

Ульяна хотела было сказать, что обязательно нужно идти искать, но муж, натянув одеяло, громко захрапел. Женщине стало обидно. Не беспокоится о дочери, растянулся и спит себе. Боже, до чего длинный — от спинки и до спинки кровати. А лицо узкое, худое, кожа да кости, ну и лицо! Вдобавок ко всему торчат два зуба, как у сердитой крысы. И как это она полюбила такого! Почему-то понравился он ей. Конечно, понравился — что правда, то правда, по любви за него вышла. Иначе могла бы и другого выбрать. Ведь парни на нее заглядывались, ничего, что маловата ростом. И в самом деле, была невеста хоть куда. Это она сейчас располнела, второй подбородок появился. Но если принарядится, подтянется, то все равно хороша. Эти теперешние девушки, у которых головы похожи на кочки с длинной косматой травой, раскосые глаза, густо обведенные черной краской, как у дочери абаса<sup>1</sup> в Олонхо<sup>2</sup>, а юбки чуть прикрывают зад, еще могут позавидовать ей... «Ой, о чем это я? Как поздно уже!.. Что-то, видно, неладное случилось с ребенком. Лишь отец наш спокоен. Другой на его месте вскочил бы и пошел искать. А может, так же вот дрыхнул бы. У мужчин сердце каменное. Непробиваемая скала. Хоть бы о своем ребенке побеспокоился! А ведь когда ему что нужно, как кот, хвостом виляет. А мы, дуры, приласкают нас, чуть не таем».

Выйдя на улицу, Ульяна по привычке направилась было в больницу: медсестрой там работала. Сделав несколько шагов, остановилась: «Не дай бог...» — и повернула к районному Дому культуры. На улице пусто. Изредка пробежит какой-нибудь босоногий мальчишка.

---

<sup>1</sup> А б а а с ы — жители нижнего мира, злые духи.

<sup>2</sup> О л о н х о — якутский героический эпос.

Даже со стороны Дома культуры не слышно особого шума. Наверное, многие матери, заждавшиеся своих детей, не добром поминают этот дом. И то сказать, неужто вся культура — кино и танцы до упаду?

Ульяна вошла в клуб. Из-за прикрытой двери зрительного зала доносятся чьи-то голоса и смех — фильм показывают. Она постучала, вызвала знакомую девушку — контролера и спросила о дочери. Оказалось, что та сегодня вечером вовсе не видела Кюннэ. Ульяна спросила еще раз: «Милая, может, ты не запомнила?» Но девушка твердила свое: «Нет ее здесь, нет. Как же не запомнить, обязательно запомнила бы...» Вернувшись в зал, она просунула голову в дверь и, успокаивая Ульяну, зашептала: «Как увижу, скажу Кюннэ, что ищите ее».

Ульяна обошла весь клуб. Никого нет. Только в фойе в полутемном углу стоят три девушки. Она не смогла определить, кто такие. По годам как будто школьницы. Ждут, наверное, танцев.

— Девочки, вы не видели Кюннэ Каратаеву?

— Нет...

— Не видели...

В темноте поблескивали испуганные глазенки. Уходя, Ульяна услышала шепот: «Девушка... потерялась». Она хотела вернуться и расспросить их, но не стала задерживаться: ведь не ослышалась она, ответили, что не видели.

С еще большей тревогой Ульяна вышла на улицу. Остановилась и стала думать, куда бы ей пойти. Она решила заглянуть к Даше — самой близкой подруге дочери.

Сумерки сгустились, в окнах стали загораться огни. Чем больше появлялось светлых окон, тем больше росло

волнение женщины. Стала припоминать, из-за чего раньше запаздывала дочь: в школе задерживалась, а бывало, к подруге зайдет на час-другой. А чтобы как сегодня — такого никогда не было...

Даша во дворе развешивала белье. Она спокойно выслушала Ульяну.

— Мы днем виделись, в магазине, — сказала Даша. — Вечером Кюннэ не приходила.

— А где она может быть?

Девушка, подпирая шестом веревку для белья, ответила:

— Наверное, у подруг. Еще не поздно.

— Какое там «не поздно»... — вздохнула Ульяна — Что же мне теперь делать?

Даша повернулась к ней. Ей стало жаль встревоженную, испуганную Ульяну. Хотела было что-то сказать, да сдержалась. Некоторое время стояли молча: Даша — засунув руки под мышки, в тоненьком сарафанчике, видно, продрогла, и Ульяна — нахохлившаяся, как птица.

— Чего это вы испугались, тетя Ульяна? Кюннэ такая девчонка, знает, куда ходить.

— А как же не бояться... Всякое рассказывают...

— Неправду рассказывают! — Даша вдруг засмеялась. — Все хорошо будет. Мало ли что болтают!

— Пусть будет так.

— Идите домой. Ложитесь спать и не беспокойтесь. Не ищите Кюннэ. Все равно не найдете.

— Это... почему же?.. — хрипло произнесла Ульяна, как будто ей горло сдавили.

— Да так... — ответила Даша, заметно волнуясь. И немного погодя добавила: — Не беспокойтесь, тетя Ульяна. Ничего с ней не случится.

— Доченька... Ты, может быть, что-нибудь знаешь? Скажи!..

— Нет... Нет...— то ли отказываясь отвечать, то ли дрожа от холода, замотала головой девушка.

Ульяна молча повернулась и пошла к калитке.

Уже на улице ее догнала Даша, громко топоча огромными ботинками, обутыми на босу ногу.

— Тетя Ульяна, ни о чем плохом не думайте. Ничего плохого случиться не может, я знаю.

— Тогда ответь, где она сейчас? — тихо спросила женщина.

— Нет... нет... не знаю...— начала было Даша, но, увидев умоляющие глаза Ульяны, умолкла. Постояла, опустив голову.— Давеча девчата говорили, что пойдут в парк. Может, она с ними там. Не знаю... Вы возвращайтесь домой. Не беспокойтесь, Кюннэ придет.

— Хорошо, милая.

Расставшись с Дашей, Ульяна не пошла домой. Постояв на углу улицы, она повернула в сторону парка. Ей было и боязно за дочь, и жалко себя. Другие женщины спокойно спят, а она, высунув язык, мечется по всему поселку. Вот тебе благодарность дочери за то, что вырастила ее... Верно говорят: детское сердце камень. Не подумала ведь, что мать тревожится, носится где-то допоздна. А может, и подумала, да решила: ничего, мол, с матерью не станет, пусть поволнуется. Все может быть...

Беспокойство сменилось досадой, злостью. Постепенно к одной провинности дочери стали добавляться и другие. Оказывается, она не выгладила белье, выстиранное вчера. Должна была вымыть кадушку из-под капусты и не вымыла. Правда, ей никто этого не поручал, но ведь сама все видит. А если понимает, что к чему, то не должна ждать, когда ей скажут. Привыкла жить за спиной

матери. Да и чего ждать от девушки, которая заставляет искать ее, словно охочую до грибов корову.

На фоне вечернего неба смутно вырисовывались темные контуры высокой арки, ведущей в парк. Эта арка хорошо знакома Ульяне. На пятом или шестом году после войны комсомольцы районного центра устроили здесь парк, всю весну работали. В то время это был основательно захламленный лес со старыми лиственницами и островками берез. Они тогда выкорчевали сухостой, убрали мусор, проложили аллеи, поставили в уютных местах скамейки, соорудили танцевальную и волейбольную площадки, а у входа возвели арку. Всей этой работой руководил Проня, тот самый Проня, который спит сейчас дома, растянувшись во всю длину кровати. Долго спорили тогда, какую сделать арку. Всем хотелось, чтобы она была очень красивой, необыкновенной. Каждый предлагал свое. Приняли в конце концов Пронин проект: вкопали в вечную мерзлоту два шестиметровых столба — комли могучих лиственниц, соединили их вверху гнутыми перекладинами, между которыми укрепили красную звезду. Что ни говори, то были замечательные времена. Годы радостного задора, веселья, шуток.

Так вот этот парк сыграл большую роль в судьбе Ульяны. Здесь она познакомилась с Проней, своим будущим мужем, — вместе работали на тех воскресниках. И потом они часто приходили сюда. Было у них здесь свое любимое место: скамейка в стороне от людских глаз, в гуще березовой рощи. Никогда уже больше не встречала Ульяна таких берез, таких приветливых, добрых.

«После женитьбы Проня нет-нет да и вспоминал: «Березы-то, поди, соскучились по нас...» Позднее все реже вспоминал. А теперь, кажется, начисто забыл. Конечно, чего ему вспоминать о каких-то деревьях, о какой-то рас-

сохшейся скамейке, — куда интереснее на рыбалку съездить. А я... Да что говорить: оба мы переменялись. Не приходится теперь, как в молодости, мечтать. Раньше надеялась: поработаю два-три года медсестрой — поступлю в медицинский институт. Но вышла замуж. А как родилась дочь, и думать об институте перестала, радовалась и тому, что не бросила работу. И в самом деле, зачем мужу стараться развлечь меня, когда и без того уверен, что никуда не уйду. Ишь ведь что, шутник, придумал: «У меня есть бумажка с печатью» — свидетельство загса о браке. Нет, если люди не расходятся, то не эта бумажка их удерживает. Что-то другое...

Эх, Проня, Проня! Устал на рыбалке воду мутить, дрыхнешь теперь преспокойно. Где тебе побеспокоиться о родной дочери... А может, и правда сидит она сейчас с подружками и весело хохочет. Ну, смотри у меня, как только найду, взыщу с тебя за все свои страхи, сделаю так, что больше не будешь мучить мать».

Вокруг чуть слышно перешептывались деревья. Быстро темнело. Но Ульяна так знает этот парк, что, кажется, могла бы пройти его и с закрытыми глазами. Сначала она шла по аллее, а потом по тропинке. Вспугнула несколько пар, нашедших укромные местечки. Но это их особенно не смутило. Повернулись к ней спиной, и все. А какой-то рослый парень с длинными до плеч волосами, в свитере до колен, замахал рукой, в которой была зажата не то сигарета, не то папироса. «Тетка, вам здесь делать нечего». У, черт, такой еще приснится...

Стало холоднее. Ульяна поежилась. «Нынешняя молодежь не стесняется... — подумала она не то одобрительно, не то осуждающе. — Даже днем при всех идут в обнимку. Это уж чересчур. У нас иначе было. Что мы с Проней гуляем, почти до самой свадьбы никто не знал.

Это он сейчас болтает о «бумажке с печатью», а тогда был скромный, стеснительный парень... Пришел свататься, а двух слов связать не может, волнуется, страдает. Жалко было смотреть на парня. Самой пришлось помочь ему... А когда сюда приходили, пугались каждого звука, каждой тени... Будто что натворили... До чего тогда ненавидели любопытных одиночек, шныряющих всюду, подслушивающих, подсматривающих. Нельзя винить и теперешнюю молодежь, если им это не нравится. Сегодня вечером ее, Ульяну, не раз, наверно, вспоминали недобрым словом».

Теперь Ульяна не стала подходить к сидящим на скамейках, а издали присматривалась к ним. И хоть в сгустившихся сумерках трудно было разглядеть лица, она была уверена, что и в темноте узнает свою дочь. К тому же ей не очень-то верилось, что дочь здесь. С какой стати такая молоденькая придет сюда так поздно? «Видать, Даша ошиблась: вспомнила, как днем девушки говорили, что сюда пойдут... Где искать теперь? У кого спросить? А может, дочь давно дома? Э, нет, если бы вернулась домой, то кинулась бы сама меня разыскивать и давно бы уже нашла...»

Темнота скрыла все бугры и ямки. Ульяна шла быстро, спотыкаясь. Один раз чуть не упала, зацепившись ногой за корень, пересекавший тропинку. Успела схватиться за ветку дерева. Досада и злость вспыхнули с новой силой: «Вот мучительница!» Подняв голову, Ульяна увидела черневшую в сизых сумерках короткую, словно обрубленную лиственницу и про себя воскликнула: «Та самая!» Это была их «куцая» лиственница. Корень ее торчал тут над тропинкой и в то время, когда они с Проней были молоды. Проня называл ее «порогом нашего дома». Как только перешагивали через этот корень (тогда она

не спотыкалась, как сейчас), считалось: «Ну, пришли домой». И затем проходили вон в ту березовую рощицу. К той самой своей скамейке. Эта светлая березовая роща была для них родным домом.

Охваченная воспоминаниями, Ульяна на какое-то мгновение забыла, зачем пришла сюда. К щекам ее прилила кровь. Женщина ущипнула себя за мочку правого уха. И опомнилась, только когда сережка больно уколола ее. Из-за чего это она вдруг так разволновалась? Из-за лиственницы? Из-за скамейки? «Порог...» Чего только не болтали в молодости! Ульяна махнула рукой и пошла вперед. Но как ни старалась отогнать воспоминания, они не оставляли ее. И странно, и хорошо было на душе. И казалось Ульяне, что за этими березами встретится она сейчас со своей молодостью...

Вдруг Ульяна остановилась. В темноте из-за плотной стены берез слышался знакомый девичий голос:

— До чего славный вечер...

«Это Кюннэ!..» Ульяна замерла, вслушиваясь. Голос дочери звучал нежно, взволнованно:

...Думаешь хорошие думы,  
Эту землю своею считаешь,  
И людей своими считаешь,  
Любишь жизнь, идешь ей навстречу.  
Вот и счастье с тобою рядом,  
И глядит оно светлым взглядом.  
Думаешь хорошие думы.  
До чего славный вечер!

«Вот, негодница, ты здесь сидишь, стихи читаешь, а мать тебя ищет,— разозлилась Ульяна.— Я тебе покажу «До чего славный вечер!». Но голос дочери звучал так радостно, так необычно, что Ульяна невольно заслушалась. Никогда прежде она не слышала, чтобы Кюннэ так

читала стихи. Постой-постой... Кому это она их читает? Подружкам? Но почему такая тишина?

И тут в тихом спокойном воздухе раздался другой голос:

...Укрытый темнотою ночи,  
Буду стоять под твоим окном...

«О!.. Парень... Этот, этот... Тумарча... Кажется, они вдвоем. На нашей скамейке. Да, там... Так рано?.. В ее годы я...» Женщина прижала ладони к щекам. Нет, ее пример не говорит против дочери. Когда она кончала медицинское училище, ей столько же было...

Буду приветствовать на восходе солнца  
И славить тебя его лучами.

«Какой молодец!.. Тумарча и вправду хороший парень. Нынче не прошел в университет, не добрал баллов, но такой добьется своего. В будущем году обязательно поступит. Весь в отца, трудолюбивый. Оказывается, дружит с моей дочерью. Ишь ведь, и никакого вида не подают. Ладно, ладно... Если друг другу нравятся, уважают друг друга по-настоящему, то неужели будут на улице обниматься? Фу... Ну, милые, берегите друг друга... Пойте счастливую песню, думайте добрые думы. Правду вы говорите: эта земля — ваша. Все — ваше!»

Женщина повернулась и, ступая на носках, медленно, почти неслышно пошла по тропинке.

\* \* \*

Ульяна ощупью пробралась в спальню. Не зажигая света, легла.

— Нашла дочку? — спросил муж сквозь сон.

— Нашла...— почему-то шепотом ответила женщина.

— Где?..

— На той самой, на нашей скамейке.

Муж или не расслышал ее последних слов, или не придал им значения. Спросил без всякого воодушевления:

— Привела?

— Нет.

— Утром отругаем как следует...

«За какую провинность? За то, что выросла?» — улыбнулась Ульяна. «Отругает. С каких это пор научился ругать и корить? Бедненький мой, не умеет даже сердиться на людей. В крайнем случае скажет: «Ну и ну, вот так штука!..» На него-то и самого трудно рассердиться. Бывает, кипишь от злости, а увидишь его торчащие, как у младенца, зубы, его виноватый вид и то, как он чешет затылок,— сама не заметишь, как заулыбаешься. Такой человек. Удивительный человек!» Может быть, другим людям он и кажется некрасивым. Ульяне даже в голову не приходят такие мысли. Для нее нет никого красивее Прони с торчащими зубами.

Ульяна задорно засмеялась и, повернувшись, уткнулась головой под руку мужа.

— Про-ня!..

— Что? — испуганно спросил муж.

Женщина положила голову ему на грудь:

— Где мой Оржооску? <sup>1</sup>

— Напугала ты меня.

— Оржооску... Оржооску...

---

<sup>1</sup> Оржооску — человек с торчащими зубами (в данном случае прозвище).

Мужчина, зарыв лицо в волосы жены, прошептал:

— Не сердись, Оржойона<sup>1</sup>.

Ульяна слышит, как близко, совсем близко бьется сердце мужа. Щедрое, молодое сердце.

Женщина, чуть шевеля смягчившимися губами, тихо прошептала:

— До чего славный вечер! Добрые мысли приходят в голову...

---

<sup>1</sup> О р ж о й о н а — жена Оржооску.

## *В прошлом году и нынче*

Еду на собаках по заснеженной сверкающей тундре. Очень хочется, чтобы скорее окончился кажущийся бесконечным путь. Заметив юрту, сиротливо притулившуюся у дороги, останавливаю упряжку, захожу, желая узнать, сколько мне еще ехать.

Темнолицый седой человек сидит у весело потрескивающей железной печурки и свежует тушки песцов.

Здороваюсь, спрашиваю:

— До усадьбы колхоза «Красный оленевод» сколько будет отсюда?

Хозяин юрты вынул изо рта трубку, посидел в раздумье и спокойно ответил:

— В прошлом году было шесть кёс. А нынче может быть все восемь...

— Как это? Поселок перенесли?

Хозяин юрты поднимает на меня глаза и, будто решая, отвечать или нет на такой глупый вопрос, водит по лбу рукой, в которой зажата трубка.

— Нет, не перенесли.

— А почему же стал дальше отсюда?

Возмущаясь, что я не понимаю самых простых вещей, он цокает языком.

— «Почему, почему?» В прошлом-то году собаки были в теле. А нынче — тощие.

Наконец-то я взял в толк: конечно, кто же здесь измерял метровкой безграничные просторы тундры. Здесь мера одна — собачьи ноги, сила-резвость наших четвероногих друзей.

Выхожу из юрты и разглядываю своих собак: жирные или тощие? И прикидываю, сколько будет кёс до «Красного оленевода».

## *На лугу*

Большой алас с озером, дальний лесистый берег которого теряется в мареве. Возле озера скошенный луг, весь в копнах свежего сена.

Трактор, волоча огромные неуклюжие сани, возит сено к скирде.

Тракторист Аян Доргуев быстро нагружает сани. Длинные, темные, отполированные ладонями вилы разом захватывают почти половину копны, они словно танцуют в сильных руках парня: вверх — вниз, вверх — вниз. Сено, подкинутое ими, кажется легким как пух. Сноровисто работает парень, играючи, будто и не прилагает усилий, только, когда при взмахе короткие рукава его тонкой ситцевой рубахи сползают вниз, видно, как, напрягаясь, переплетаются, бугрятся мускулы на загорелых руках.

Сгребальщица Татыйаас Кынтоярова невольно загляделась на Аяна, залюбовалась красотой и ловкостью его движений. Увлеченный работой парень вдруг перехватил ее взгляд. Да тут еще, неизвестно почему, Татыйаас улыбнулась. Аян смущенно опустил глаза и чуть не уронил целый ворох сена, но опомнился и успел подтолк-

нуть его к середине саней. Вытаскивая вилы, он заметил, что женщина быстро-быстро с виноватым видом сгребает сено.

Вторая сгребальщица, молоденькая девушка Кээтириис Догордунова, или Кээтии, как звали ее все колхозники, тихо сказала парню;

— Айка, ты не поднимай слишком много. Куда спешишь?

Но он даже не взглянул на девушку.

Вскоре Аян доверху нагрузил сани. На земле осталось совсем мало сена. Замелькали грабли женщины.

Татыаас сгребала сено возле саней и вдруг словно спиной почувствовала брошенный на нее взгляд.

Женщина гибким упругим движением повернулась. Она увидела глаза Аяна — ласковые глаза. Татыаас вся застыла, объятая теплом, лучащимся из этих глаз, обнимавших всю ее мягко и бережно.

— Татыаас Сидоровна, может быть, посторонитесь?

Кээтии произнесла эти слова медленно, в растяжку, каким-то изменившимся, охрипшим голосом. Она стояла, приставив грабли к ногам женщины.

Татыаас вздрогнула от неожиданности, отскочила в сторону.

— До чего жарко. Вся взмокла, — сказала она, как бы извиняясь, и несколько раз провела гребенкой по блестящим черным волосам. И тут же поняла, что не удалась эта маленькая хитрость. Кто поверит женщине, которая днем не жаловалась на жару, а теперь вот, когда уже близится вечер, тени спускаются на луг, говорит, будто ее разморил зной. Женщина мельком взглянула на посерьезневшее, хмурое лицо Кээтии. Девушка, оставив позади себя неубранное сено, сгребала возле нее. Таты-

аас пожалела Кээтии, и ей захотелось обратить все случившееся в шутку, пошалить, посмеяться, но тут же она подумала, что Кээтии может понять ее неверно, обидеться. Сдержав подступивший к горлу смешок, Татыйаас побежала к оставшемуся позади саней селу.

Раздался сердитый, захлебывающийся рокот мотора.

— Ну, девчата, садитесь. Поехали! — закричал Аян.

Вспомнив помрачневшее лицо Кээтии, Татыйаас не стала спешить. «После нее...» — подумала она и, работая для вида, сгребая редкие травинки, заметила, что девчушка кинула на нее несколько раз выжидающий взгляд.

— Девчата, слышите или нет? Чего там гребете на пустом месте! Все чисто убрали. Кончайте. Ждут нас. Вон посмотрите-ка, машут. Торопят.

Кээтии первая бросила грабли на сани. Вслед за ней подошла к трактору и Татыйаас.

Аян протер лоскутом от старой рубахи покрытое черным дерматином сиденье, но не все, а только место рядом с собой, и бросил тряпку на пол.

— Ну, садитесь. Сядь, Татыйаас.

Татыйаас, понимая, как, наверно, тяжело и обидно для Кээтии то, что он протер лишь половину сиденья и обратился только к ней, говоря «сядь», не очень-то торопилась. Она протянула руку к тряпке, но Аян опередил ее и два раза прошелся по краю сиденья. Татыйаас стала ждать, чтобы Кээтии села первая.

— Ну, садитесь же, говорю! Или не понимаете по-якутски...

Сомкнув черные густые брови, Аян схватил Татыйаас за руку и усадил рядом с собой. Кээтии, ухватившись за железную ручку, кое-как взобралась сама и уселась на самый краешек сиденья, короткого, видимо, рассчитанного только на двоих. Она старалась занимать как мож-

но меньше места: если сесть удобно, Татыйаас и Аян совсем прижмутся друг к другу.

Увидев, что девушка кое-как примостилась с краю, Татыйаас обняла ее за талию и притянула к себе.

— Кээтии, тебе неудобно, сядь ближе.

Что было делать Кээтии? Пришлось придвинуться к женщине. Уголкем глаза увидела: так оно и есть, Татыйаас и Аян сидят плечом к плечу. Больше того, женщина чуть повернулась к Аяну, будто бы уступая ему больше места, сидит боком к нему, видимо касаясь парня грудью.

Кээтии убрала руку, обнимавшую ее талию, и отодвинулась на край сиденья.

— Кээтии...— заговорила было Татыйаас, да смолкла, медленно отстранилась от Аяна, прижалась к задней стенке кабины и стала глядеть на расстилавшийся впереди убранный луг. Ей опять стало жаль Кээтии, обычно такую говорливую, а теперь притихшую, сжавшую свои розовые губки.

«Бедняжка на меня, конечно, злится. Надо же как случилось: встала ей поперек дороги... В тот раз, когда распределяли на работу и бригадир сказал: «Кээтии Догордурова пойдет с трактором Аяна Доргуева», девчушка вспыхнула от радости, а потом смутилась, спряталась за спины подруг. А парень-то и смотреть на нее не желает. Но ведь эта Кээтии нравится многим ребятам. Она хоть и ростом маловата, да такая крепенькая, ладненькая, фигурка у нее словно выточенная. И личико приятное. И культурная... в прошлом году окончила десять классов. В город не уехала, по призыву комсомола у себя в колхозе работает... Чего уж там говорить, девушка видная. Но Аян даже не замечает, что Кээтии тоже здесь, рядом с ним. Все время на меня смотрит, только

со мной разговаривает. Как будто, кроме меня, никого и нет. Конечно, как же ей, бедняжке, не сердиться? Да, и сама я виновата, куда только не встречаю. Я ведь знала, что Аян уже давно заглядывается на меня, еще с весны, когда пришел из армии. Нужно было попроситься на другой трактор. Так-то оно так, но почему я должна была считать себя лучше этой девчонки, похожей на распускающийся цветок, хорониться от его глаз? Это выходит, что я лучше ее... Ой, нет...» Но как ни останавливала себя Татыйаас, видимо, додумала все до конца: щеки ее заметно зарделись, глаза, прикрытые густыми ресницами, заблестели. «Стало быть, я лучше Кээтии».

Татыйаас кинула взгляд на девушку. «А теперь и во все спиной повернулась. Наверное, злая-презлая сидит. Надулась, как мышь на крупу. Даже спина сгорбилась, как у старушки. Постой-ка, а чем это я так перед ней провинилась, что смотреть на меня не хочет? Сказала про нее что-нибудь дурное или обидела ее чем-нибудь? Кажется, за мной не водится такого греха. Так что же ей от меня надо? За Аяна боится, что ли? А разве он ей принадлежит? Если бы было известно, что они дружат, и я бы вклинилась, тогда, конечно, мой грех. Ну, а ведь между ними, все знают, ничего нет. А то, что он ей нравится, это еще ничего не значит. Мало ли кто нам, бабам, нравится? Мало ли какие у нас причуды? Если с этим считаться, то весь мир завертится, как мутовка, все пойдет кувырком, ни семьи, ни порядка не будет. Пока что этот парень никому не принадлежит: он такой же ее, как и мой. Сам себе хозяин. Вот если кого полюбит или семьей обзаведется — дело другое. А сейчас он — вольная птица. Так что нет у тебя, милая, никакого права на меня сердиться? Да и разве я липну к Аяну? Это он сам все. Да и что случилось? Пару раз улыбнулись друг другу.

Подумаешь! А что, я рычать должна, если человек мне улыбается? Если он на меня так смотрит, в чем тут моя вина? Глаза ему завязать прикажешь или мне отказываться от работы? На то я и женщина, чтобы нравиться мужчинам. Да и не ради ли этого все мы и наряжаемся, и прихорашиваемся?»

Рассуждая так, Татыйаас совсем успокоилась, а Кээтии, как и раньше, сидит к ней спиной. «О-о, ну и дура девчонка. Разве привлечет она парня, если будет дуться и злиться? Кажется, не ребенок, давно уже выросла, а этого не поняла. Или, может быть, думает, что своей злостью меня запугает. Нет, девка, меня не запугаешь, а наоборот...»

Татыйаас повернулась к Аяну, сверкнула взглядом. От этого взгляда не только лицо, шею, а даже и уши парня залило краской. «Все мысли видать насквозь у бедненького,— подумала женщина с грустью.— Так ему хочется сказать что-то, да сдерживается. Не повернет головы, смущается. Боится сказать лишнее».

«Интересно, наверно, на нас со стороны посмотреть, молчим все трое, будто только что кончили ругаться,— подумала Татыйаас.— Ах, вы такие: одна от злобы потемнела, другой от радости, что ли, порозовел! Погодите, я вас еще пуще подзадорю!» Женщина лукаво улыбнулась и, повернувшись к Кээтии спиной, тихо спросила парня:

— Аян, тяжело крутить руль?

— Нет, легко.

— Это, наверное, тебе легко. Руки сильные.

— Ты что думаешь, человек собственными руками все это тянет? Мотор двигает. Смотри-ка,— Аян слегка коснулся пальцами руля, и трактор стал поворачивать то в ту, то в другую сторону.

— Ну, как? — обратился к ней парень с улыбкой.—  
Слушается, да?

— Кого слушается, кого — нет,— пожала плечами женщина.

— Этот трактор слушается всех хороших людей. И тебе подчинится. Возьми руль.

— Нет, нет. Боюсь...

— Ну, давай, начинай,— засмеялся Аян.— Я же рядом.

— Да нет...

Хоть и отказывалась Татыаас, все же она чуть приподняла левую руку.

— Вот так,— Аян осторожно, кончиками пальцев, взял руку женщины, положил на руль.— Теперь другую, сюда,— он повернулся боком и отодвинулся.— Сядь поближе.

Татыаас села плотнее и, как ей казалось, стала управлять трактором. Но как только Аян отнял свою руку от руля, трактор качнулся вправо.

— Ой! — вскрикнула Татыаас и так крепко ухватилась за руль, что ее тонкие длинные пальцы побелели. Трактор на этот раз качнуло влево.— Куда пошел? Аян!..

Аян просунул руку за спину женщины и, взявшись за руль, выправил трактор.

— Вот и все! — засмеялся парень.— Говорил же, очень послушная машина. Куда повернешь руль, в ту сторону и поворачивается. Правильно, правильно, вот так. Хорошо-о!..

Кэтии как увидела, что рука парня обнимает женщину, так глаза у нее округлились, она зажала себе ладонью рот, потом вдруг вскочила и крикнула:

— Стойте!

Парень с женщиной мгновенно обернулись, а трактор двинулся прямо на большую полузасохшую иву на краю луга.

— Кээтии, что с тобой? — спросила Татыйаас.

— Говорю, стойте! Остановите!..

Аян остановил трактор.

Кээтии молча спрыгнула на землю.

— Почему она сошла? — Татыйаас взглянула на Аяна.

— Откуда мне знать? — ответил тот, не придавая этому большого значения.— Взгляни-ка, ты мне трактор чуть в лес не завела. Ну, держи руль. Направь вон в ту сторону, к нашим.

— А ты сначала выведи его на ровное поле.

Аян повернул трактор в сторону людей, скирдовавших сено, потом снова положил руки женщины на руль.

— Если идет прямо, руль не крути. Ну, веди сама.

Татыйаас никак не могла поверить, что такая тяжелая железная машина послушна ее рукам. Раньше она считала трактористов, шоферов людьми особенными. Бывало, увидит какую-нибудь девушку за рулем и думает: «Ну и девушка! Ай да огонь девушка!» Оказывается, все могут водить машины, надо только подучиться. Вот ведь ведет она сейчас трактор. Надо просто знать эти рычаги, педали, в моторе разбираться. Разве это ей не под силу?

На пути попался то ли бугор, то ли кочка — трактор сильно затрясло. Аян опять просунул руку за спину Татыйаас, чтобы взяться за руль. Трактор снова трянуло, женщина чуть не упала на руль. Аян вовремя заслонил его другой рукой. И тут лица их сблизились, щека к щеке. Парень почувствовал томящее тепло женского тела,

прижатую к его руке тугую грудь, видел взбудораженные глаза, обрамленные густыми черными ресницами. И, уже ничего не различая, словно в тумане, прижался губами к горячим раскрытым губам женщины.

— Ой!.. Аян, не надо...— Татыйаас оттолкнула парня.— Люди увидят... Вон они скирдуют сено. Уже близко.

Татыйаас мгновенно отодвинулась на другой конец сиденья.

Аян помотал головой, пригладил рукой волосы и, не глядя на женщину, повел трактор.

Люди, занимавшиеся уборкой сена, расположились на опушке леса, в тени высоких раскидистых лиственниц. Здесь стояла просторная, выгоревшая, вылинявшая от солнца и дождей старая палатка. А чуть в стороне от нее, в распадке леса,— большой шалаш, похожий на древнюю урасу<sup>1</sup>. В нем спят женщины, а в палатке -- косари.

Уже начало августа, вечерет рано. К тому же сегодня небо быстро заволокло тучами. К дождю, что ли? Совсем недавно такое чистое, безоблачное небо стало свинцово-черным.

Люди, сидевшие вокруг костра, постепенно умолкли. Костер прогорел, и теперь только при легком дуновении вспыхивали искры и взлетал пепел.

Сегодня, как никогда прежде, быстро стемнело.

Люди незаметно, поодиночке, разошлись на ночлег.

В женском шалаше сегодня не то, что в прежние вечера,— ни песни, ни шуток, ни смеха. Без лишних разговоров стали готовиться ко сну. При прыгающем свете свечи застелили постели и легли спать. Задули свечу.

Было слышно, как поднялся ветер. Он прошелся по

---

<sup>1</sup> У р а с а — конусообразное жилище.

лиственницам, тяжело задышал, обнимая шалаш, забрался внутрь его.

— Девчата, закройте вход: как дождь начнется, залет нас,— раздался из темного угла голос Матуроны, пожилой женщины.

Вход прикрыли. Стало совсем темно.

— Дождь пойдет? — тихо спросила девушка, лежавшая возле дверей.

— Кто его знает,— не сразу ответил кто-то.

— Если пойдет, завтра съездим домой,— сказала Матурона, зевая.— Девки, не шумите. Давайте спать.

Все притихли, лишь было слышно, как то тут, то там шелестело сухое сено. Спать никому не хотелось.

— Пусть не будет дождя,— сказала вдруг та девушка, по имени Юя, которая спрашивала, пойдет ли дождь.— Не люблю дождливое небо. Оно как будто плачет.

Юя, еще школьница, каждое утро, проснувшись, первой выбегает из шалаша посмотреть, какой день будет, и, если небо ясное, возвращается вприпрыжку, кричит: «Ой, девочки, ну и солнце! Ослепительное! Изумительное!»

— Ух, девка, тоже мне придумала. Взрослая уже, а не понимаешь, что к чему,— проворчала Матурона и от досады причмокнула языком.— Дождь — это урожай. Без него засуха все дотла высушит, тогда уж ни сена, ни хлеба, ни земляники тебе.

Никто ей не ответил.

Татьяна захотелось защитить Юю, и, полежав молча, она сказала:

— Осенью, во время уборки, зачем нужен дождь?

— Раз идет,— значит, нужен,— не сдалась Матуро-

на. И добавила, желая показать, что спорить ей не хочется: — Ну, хватит, спать пора.

Татьяна хотела протянуть руку помощи девочкам, а они, кажется, и внимания не обратили на ее слова. Шепчутся о чем-то вполголоса.

— Что любишь? — тихо спрашивает Юя.

— Не знаю, — отвечает Нина, лежащая рядом с ней.

— Как же не знаешь? — удивляется Юя. — Я люблю солнце. День, когда далеко видно. А ты?

— Говорю, не знаю. Как узнаю, скажу.

— Тогда ты сейчас ничего не любишь?

— Не говори «ничего», говори «никого».

— Почему?.. — удивленно спросила Юя и, помолчав, словно доверяя тайну, еле слышно прошептала: — Ты, оказывается, о человеке говоришь. Я вообще спросила.

— Вообще... — засмеялась Нина. — Смотри, как бы с твоим «вообще» не остаться тебе ни с чем.

Спать Юе не хотелось, и она снова зашептала:

— Кэтии...

— Что? — раздался не особенно приветливый голос. Раньше перед сном Кэтии, бывало, стрекотала без умолку.

— Ты... что любишь?

— Ничего и никого, — холодно отрезала Кэтии.

— Тогда кого ты не любишь? — не отставала Юя.

В шалаше наступила тишина. Даже девушки, беспрестанно хихикающие девушки, и те умолкли.

— Молодящихся старух, — сказала Кэтии нарочито громко, с расстановкой.

В глубине шалаша зашуршала трава. Матурона, оказывается, еще не уснула.

— Чего болтают эти дурочки? — сказала она сердито. Слово «старуха» она приняла на свой счет и по-

чувствовала себя уязвленной. И вправду, в этом шалаше старше ее никого не было.— Решили меня в «старухи» записать. Так, что ли? Э, нет, рановато.

— Матурона, я не...

— Замолчи! — прикрикнула Матурона на Кээтии.

Девушка послушно замолчала.

Возле дверей кто-то коротко засмеялся, стараясь подавить смешок.

— Смеются еще,— сказала Матурона, но уже более мягко.— Думаете, что над старушками смеетесь, а на самом деле над собой. Пройдет совсем мало времени, не успеете вдоволь нацеловаться, намиловаться, как солнышко ваше закатится. Жалуются, что короток век человека. Бабье счастье, бабий век — в три раза короче. Как говорят, сердце хочет, да сил нет. После этого проживи еще хоть пятьдесят лет — на что такая жизнь, когда все пламя погаснет? Поэтому и говорю: над собой, над своим будущим смеетесь,— вздохнула Матурона и, немного погодя, добавила: — Не вина старухи, что она молодится. Кому не хочется выглядеть молодой! Не зарекайтесь. Придет время, и вы будете молодиться.

В шалаше совсем стихло. Но никто, видимо, не спит: не слышно сонного дыхания, только шуршит трава, когда кто-то поворачивается.

«Кээтии, кажется, получила отпор с неожиданной стороны,— с грустью подумала Татыйаас.— Никто здесь не понял, кому были адресованы эти колючие слова: «молодящаяся старуха». Всю свою обиду и злость вложила Кээтии в эти два слова и направила, как отравленную стрелу, в мое сердце, но случилось, что удар приняла своей могучей грудью Матурона. Но слово-то сильнее стрелы. От слова не отскочишь проворно в сторону, не спрячешься за толстую стену. Оно найдет тебя, дого-

нит где угодно. Да разве я уклонялась от удара, пряталась? И хоть все думают, что задета Матурона, яд слов Кээтии все равно дошел до меня... Это я-то старуха? И ведь не постыдилась девчонка назвать меня так.— Татыйаас улыбнулась.— Даже Матурона обиделась. Интересно, сколько ей лет? Наверно за пятьдесят. Ее первый сын старше меня, у него дети школьники. А я? Я совсем не считаю себя прожившей жизнь и «бабьего счастья», о котором говорит Матурона, не испытала еще».

Счастье?.. За те несколько месяцев с Кенчээри познала ли Татыйаас счастье? Вряд ли... Когда она сейчас вспоминает то время, оно ей кажется сном. В тот год лето было засушливое, и уже в феврале не хватало сена скоту, пришлось возить комбикорм из города. Кенчээри работал шофером, ездил днем и ночью, бывало, поздно ночью придет и опять с рассветом отправляется в путь. Не мог же он отказаться от поездок лишь потому, что недавно женился. А к весне, когда только начало таять, пришла страшная весть: произошла авария, Кенчээри в больнице. Татыйаас прямо с фермы, в рабочей одежде, тут же поехала на попутной машине в районный центр. Всю дорогу она успокаивала себя: «Не тяжело, наверное... слегка, наверное...» Но вышло по-другому. Она не застала Кенчээри в живых. В палате белел дощатый настил койки. Совсем недавно там лежал Кенчээри. Дико закричав, Татыйаас упала на эти голые доски. В ту ночь у нее был выкидыш... Вот и все.

Узнала ли она счастье за тот недолгий срок? Да, что-то похожее на счастье промелькнуло тогда, но тут же вслед пришло горе. И с тех пор всего страшнее было думать об этих самых лучших в ее жизни днях. Эти воспоминания мучили ее, как незаживающая рана. И пото-

му Татыйаас старалась забыть прошлое, жить сегодняшним днем. Проходили годы, и то, прошлое, тускнело в памяти, а когда все же наплывали воспоминания, она старалась побыстрее отогнать их. Вот и теперь резко отвернулась от стенки и провела рукой по глазам, словно хотела стереть нежеланные видения. Татыйаас стала поправлять одеяло, и рука ее коснулась груди, крепкой, не тронутой ребенком, торчащей, как у девушки. Порой женщины, даже некоторые девушки, с завистью восклицали: «Ну и груди, одна — на север, другая — на юг! Торчат во все стороны».

«Вот она, твоя «старуха», груди во все стороны! — улыбнулась в темноте Татыйаас. — Неизвестно, такие ли у тебя, Кээтии... Считаешь меня старухой, а кто знает, может быть, душой и телом я самая молодая среди вас. Думаешь, я моложусь? Ошибаешься. Я и в самом деле молодая. Ты этого не видишь, зато другие видят. Самые сильные чувства, самая огненная любовь у меня. Разве растратила я ее за те несколько месяцев жизни как во сне? Напротив, меня они только разбудили и разожгли. Замужние женщины, прожившие счастливую жизнь, этого не знают. И знать не могут. Девушки тоже не знают. Это знают лишь женщины, которые коснулись губами сладостного меда жизни и вдруг оказались с пустыми руками. Такие, как я. Потому и говорю: у вас кровь играет на щеках, грудь распирает от избытка чувств, но так, как я, вам не полюбить; не сумеете так горячо поцеловать, как я, не сможете так страстно обнять, как я. Кээтии, ты этого не знаешь. А мужчины знают. Умом не понимают, а сердцем чувствуют. Правильно чувствуют».

Аян, которому двадцать один год, предпочел меня, тридцатилетнюю женщину. Он на тебя смотрит как на

пустое место, взгляд его прикован ко мне. Такой молодой парень разве увлечется старушкой? Неправда! Значит, я лучше тебя, намного лучше. Спору нет, ты молодая, твои щеки такие полные, свежие, ты похожа на только что распускающийся подснежник. А я — цветок в полном цвету, играю, как семицветная радуга. Поэтому и нравлюсь Аяну, а может, он и любит меня. Если захочу, то он меня еще сильнее полюбит, и его опутают сети любви все крепче и крепче.

Ты, Кээтии, думаешь, что я не имею права на женское счастье? Ты, видимо, только себя считаешь имеющей на это право. Но почему среди всех женщин я должна быть несчастливой? Нет! Я тоже, как другие, хочу нежиться в теплой постели, хочу убаюкивать, целовать своего ребенка. Кто даст мне такое счастье? Аян? Может быть, и он...»

Татыяас сначала не обращала внимания на настойчивые взгляды Аяна. Парень смотрит на женщину, что ж тут такого? Молод, весел, вот и глядит играючи, шутя. После она была удивлена тем, что парень явно выделяет ее среди других женщин, и при этом она заметила, что в его взгляде не было ни заигрывания, ни шутки, а было что-то другое. Но она держалась, как и прежде, не придавая этому никакого значения. Да и могла ли она всерьез думать об Аяне. Когда Татыяас выходила замуж, Аян был десятилетним мальчишкой в коротких штанишках, с вечно шмыгающим носом. Она всегда при встрече с Аяном вспоминала того мальчишку с загорелыми, черными, как у вороны, ногами.

И только теперь вот, на уборке сена, Татыяас как будто впервые увидела парня, который сильными руками свободно управлялся с рычагами трактора и играючи подкидывал вилами полстога сена. В нем не оста-

лось и следа от того, шмыгающего носом мальчишки. Это был зрелый, крепкий, сильный мужчина, глядевший на нее восхищенными глазами. С этого момента ей хотелось еще больше нравиться ему. Каждое утро Татыйаас просыпалась с чувством человека, собирающегося на большой ысах<sup>1</sup>, радостная и возбужденная. А как же, ведь наступал день, когда ей предстояло быть с Аяном рядом, целый день под его ласкающим взором! То, что называют любовью, наверное, с этого и начинается. Кто станет стараться, чтобы понравиться нелюбимому человеку? Разве давеча днем Татыйаас заговорила с Аяном, чтобы подзавести Кээтии, которая все время дулась на нее? Конечно, нет. Чужому не скажешь, а себе самой можно в этом признаться. Татыйаас всей душой потянулась к парню, ей захотелось ощутить прикосновение его сильных, мускулистых рук. Да, так это было, именно так. Потому она и взялась за руль, потому она не спешила оторвать щеку от его щеки, когда зашатало трактор на буграх. Она остановила парня, когда он хотел ее поцеловать, лишь потому, что боялась: люди увидят. Если люди не увидят, то, выходит, можно? Кто знает... Аян после этого весь вечер ходил словно оглушенный. Что же он подумал? Как бы там ни было, он не легкомысленный парень. Он, кажется, человек слова, исполняет задуманное.

Женское счастье... А дни мчатся мимо. Если Татыйаас будет уступать всем дорогу, то и вправду скоро станет «молодящейся старухой». Есть же русская поговорка: «Сорок лет — бабий век». Если это правда, то Татыйаас еще только десять лет остается. Только десять лет! Как мало. О-о, как скоро!.. Нет, хватит уходить от мужчин, от их ласковых слов, опускать глаза, чтобы не видеть зо-

---

<sup>1</sup> Ы с ы а х — народный праздник с кумысопитием.

вущих, страстных взглядов! Хоть в эти оставшиеся десять лет она познает женское счастье. Полюбит. И ее будут любить. О-о, как она полюбит, как полюбит! Как еще никто не любил: сильно, страстно, горячо. Она не пожертвует этой любовью ради глупых, ревнивых девчонок. Никому она не уступит. Татыйаас увидела Аяна словно наяву, прямо перед собой. Стоит ей наклониться, и она коснется его щеки. О-о, Аян, осчастливь меня, прошу!

Татыйаас открыла глаза. Все исчезло, только мрак перед глазами. Ну, хорошо, пусть Аян, как ей того хочется, осчастливит ее... Они создадут семью, народят детей. А сам Аян будет счастлив? Лет через десять Татыйаас уже начнет увядать. Настанет для нее то время, когда, как говорит Матурона, сердце хочет, а сил уже нет... И вот тридцатилетний мужчина, в самую пору его расцвета, будет сторожить молодящуюся старуху! Ну, допустим, из-за детей или из-за уважения к прошлым годам Аян не разрушит семью. Но такая жизнь, жизнь по принуждению, не будет ли и для него, и для нее мученьем?

Да... Если заглянуть дальше, ничего хорошего не предвидится. Будущее, выходит, не очень светлое... даже... Об этом Татыйаас раньше не задумывалась.

«А может, не надо заглядывать вперед. Говорят же: будущее само покажет; говорят и так: будь, что будет. Нет, нельзя так... Нельзя лишать счастья парня... Ну, тогда прощай, Аян! Если ты, Аян, не думаешь о себе, не умеешь уберечь свое счастье, будущее свое, то я его уберегу.

Женское счастье... Постой-ка, а что это такое — «женское счастье»? Теплое гнездышко, муж, младенец в колыбели? Почему так мало? Нет, ты ошибаешься, Мату-

рона. Глубоко ошибаешься. Счастье, о котором ты говоришь,—неполное счастье. Ведь есть же еще родная земля, где увидела ты белый свет, есть близкие тебе люди, есть работа, есть совесть... Если люди не интересуются тобой, если нет работы по сердцу,—нельзя причислять себя к счастливым. Вот так-то. Любовь... Она для людей все равно, что солнце для растения. Ты только в одном права, Матурона: без счастливой любви нет полного счастья. И мне, может быть, встретится любовь... Аян — не то... Он — не мой... Он — Кээтии... Кажется, я чуть не помешала им, недалеко и до беды было...»

Так путано думала Татыйаас, уставившись в темноту. Чем больше думала, тем больше винила себя. Ей захотелось сказать хоть одно искреннее теплое слово девушке, чтобы смягчить ее разгневанную душу, вселить в нее веру в будущее.

— Кээтии... Кээтии!..

В темноте никто не откликнулся.

На другой день, когда отправились в поле, Татыйаас не стала садиться в кабину, шла за санями и потом все сторонилась Аяна. Тот удивленно посматривал на нее. Никто из них не сказал ни слова. Но все чаще стал раздаваться голосок Кээтии. Девчонка прямо-таки маячила перед парнем, когда грузили сено.

После обеда поломался трактор, и Аян ушел в поселок.

Вечером, после работы, женщины искупались в озере, за узкой косой — там мягкое песчаное дно. Татыйаас вышла из воды первой и направилась к опушке леса. Хоть и вечерело, но жара еще не спала. Женщина сняла с себя купальник и повесила его сушить на ветку ивы.

В тоненьком ситцевом платье присела около небольшой копны теплого пряного сена и стала расчесывать длинные косы. От зноя и усталости Татыйаас клонило ко сну. «Ну ладно, пока сушится одежда, подремлю»,— подумала она и откинулась на копну. Веки у нее закрылись.

Сколько она лежала так, между сном и явью, Татыйаас и сама не знала, как вдруг она открыла глаза, услышав чьи-то шаги по траве.

— Ой! — схватилась женщина за грудь.

Не менее удивленный Аян стоял перед ней, перекинув через плечо старый мешок. Не зная, что делать, Аян сдвинул на затылок совершенно выгоревший картуз и провел несколько раз по волосам.

— Как ты меня напугал,— сказала Татыйаас и приподнялась было, чтобы снять с ветки купальник, но снова села.

Парень стоял неподвижно, неотрывно глядя в лицо женщины. От этого взгляда Татыйаас не знала куда деваться. Скрестив руки, она обхватила ладонями плечи и вся как-то сжалась.

— Чего встал, как вкопанный? Либо проходи, либо сядь,— сказала она, опустив глаза и натягивая тонкое платье на колени.

Аян сбросил мешок и тотчас сел возле копны.

«Сама вроде пригласила его,— в душе выругала себя Татыйаас и удивилась.— Хотела ведь сказать «проходи!»». А получилось вон что, совсем другое сказала».

Аян молча смотрел странным, блуждающим взглядом на просвечивающее сквозь тонкое ситцевое платье тело женщины.

— Ну, какие новости в поселке? — спросила Татыйаас, лишь бы не молчать.

— Нет...— Аян прокашлялся.— Взял запчасти и обратно.

Когда Татыйаас лежала на копне, под платье ей попали травинки, и они сейчас так щекотали спину, что женщина не выдержала. Прогнула спину, не помогло. Протянула руку назад, за шею, и вытащила всего одну травинку. Стало щекотать еще больше. Женщина несколько раз ударила ладонью по спине.

— Давай-ка я... я...— прошептал Аян и вытащил два стебелька травы.— Еще есть?

— Есть...

Аян засунул руку за вырез по-современному широкого ворота ситцевого платья. Все пять пальцев парня, его ладонь коснулись голой спины женщины и вздрогнули, словно от электрического тока. Частое теплое дыхание ощутила на своей щеке Татыйаас. Сильные, грубые пальцы, ища траву, стали еще дальше спускаться по спине. Женщина, чтобы отделаться от них, оторвать их от своего тела, выгнула спину, да так и упала навзничь.

— Хватит! Убери руку! Убери!

Когда Татыйаас стала барахтаться, пуговицы на ситцевом платье расстегнулись и блеснули ее упругие груди. Женщина схватилась за ворот платья, а в это время к ее губам приникли шероховатые жадные губы. И словно огненный поток побежал от этих губ к ее губам. Татыйаас отпустила ворот платья. Вся размякла, растаяла. И для нее на всем белом свете ничего не осталось, кроме этих жадных, ненасытных губ, целиком и без остатка поглотивших всю ее.

Татыйаас ощутила, как коснулись грубые пальцы ее высвободившейся из-под платья груди. От этого прикосновения она вся вздрогнула. Молнией пронеслись невинные мысли: «Счастье женщины... Ее горе...»

Татыйаас, оторвав свои губы от его губ, кулаками изо всех сил оттолкнула Аяна:

— Уходи! Уходи! Говорю же, уходи!

Напуганный злыми выкриками женщины, Аян отшатнулся.

— Татыйаас... Таня...

— Уходи! Видеть тебя не желаю!

— А ты... меня...

— «Не любишь» — хочешь сказать? — женщина схватилась за ворот, сплюнула остатки травы с губ и села.— Ждешь ответа, да? Не люблю! И никогда не полюблю!

Парень вскочил.

— Как?!

— Сопли вытри!

Аян послушно провел указательным пальцем под носом и, увидев сухой палец, понял истинный смысл этих слов. Поднял с земли картуз, схватил мешок и зашагал торопливо в сторону аласа.

Татыйаас посмотрела вслед Аяну глазами, полными слез.

Если бы парень сейчас остановился, она бы, видимо, кинулась ему навстречу. А тот, напротив, словно убегал от какой-то беды, все больше убыстряя шаг. Даже не оглянувшись, скрылся за ивами.

— Аянчик, золотце мое, люблю ведь тебя. Желаю тебе счастья. Вечного счастья... Поэтому... Поэтому и прогнала. Разве ты поймешь это, дурачок... Ну, даже и к лучшему, что не понимаешь,— прошептала Татыйаас и упала на траву. Плечи ее вздрагивали от слез, душивших ее.

## Замо́к

Прихожу днем с работы, а дверь подперта палкой. В наше отсутствие за домом обещал присмотреть дед Егорша, приехавший из селенья. Не дети ли, думаю, учудили? Похоже, это их работа. Откинув палку, захожу внутрь. А там никого. Вышел во двор, оглядываюсь: куда же исчез дед?

Вскоре вижу, идет... с покупками.

— Что это, Егорша, дом-то открытым оставил?

— Почему «открытым»? — удивился старик.— Дверь-то я палкой подпер: никого, мол, нет.

— Палка — не замок. Всякое случиться может...

— Что... неужто кто побывал? — перебив меня, виновато спросил Егорша.

— Нет, но...

— То-то. Видят же, что дома никого, как посмеют зайти,— усмехнулся старик.— Смотри, сколько снеди притащил.

Я было раскрыл рот, да что тут скажешь? Смотрю на Егоршин «замок» — на палку, брошенную в сених. Это, вероятно, самый надежный замок. Если, конечно, человек верит человеку и дорожит этой верой.



*Будьте счастливы, люди!..*

Летний знойный день.

В укромном уголке Сергеляхского соснового бора стоит дача, обнесенная деревянной решетчатой оградой. Дача маленькая. Просторная, высокая, застекленная веранда придает ей солидный вид.

Перед домом — маленькая поляна. Посреди ее — круглая клумба в легком кружеве низеньких голубоватых цветов. В левой стороне участка — бревенчатый сарай с большими, почти во всю стену, окнами.

Прямо у лестницы, ведущей на веранду, желтоватобурый ствол высокой сосны. И вся поляна окружена соснами. Среди них, у калитки, одна-единственная старая береза с длинными поникшими ветвями.

Сухой, пышущий жаром воздух напитан густым ароматом хвои. Недвижны оцепеневшие, погруженные в дрему сосны. Да и сам дом с закрытыми ставнями напоминает изнемогающего от жары усталого человека с сомкнутыми веками.

В тени веранды, положив голову на передние лапы, свесив язык, лежит пес с белым пятном на лбу. Глаза его закрыты. Время от времени он издает какие-то глу-

хие звуки, не то рычание, не то стои. Мучается, видать, от жары.

Тишина. Палящий зной.

Пес неожиданно наострил уши, еще не открывая глаз, вяло пролаял: «Гав!.. Гав!..» Затем, приподнявшись, повел влажным черным носом, повернул голову в сторону сарая и, узнав, что шумит хозяин, снова лег и закрыл глаза.

Это скрипели от шагов хозяина дачи, художника Байаная Аянитова, плохо подогнанные, небрежно забитые гвоздями половицы в сарае, приспособленном под мастерскую. Аянитов остановился перед мольбертом возле раскрытого окна и, слегка запрокинув голову, провел по виску большим пальцем руки, в которой держал палитру. На нем была некогда белая, а теперь пестрая, вся испачканная красками, широкая блуза. Из-под коротких серых брюк выглядывали щиколотки худых ног, обутых в тапочки со стоптанными пятками.

Аянитов вздохнул и, макая кончик кисточки в разные краски, смешал их и опробовал о край палитры. Кажется, ему не понравился полученный цвет: чуть заметно покачал головой. Затем снова макнул кисточку в несколько красок, капнул на ноготь большого пальца. Протянул руку к окну, постоял, уставившись на ноготь, решительно шагнул к мольберту, но остановился, так и не притронувшись к холсту. Еще раз посмотрел на ноготь с краской и, вздохнув, слегка коснулся холста кисточкой.

В той же позе, с протянутой кисточкой, Аянитов попятился к двери, шаркая норовящими слететь тапочками. Прислонившись к косяку двери, пристально посмотрел на картину.

На холсте на опушке широкой белоснежной поляны, подернутой едва заметной синевой, возле огромной лист-

венницы стоит девушка на лыжах. Руки ее широко раскинуты, как будто хочет она обнять всю обступившую ее бескрайнюю тайгу, и сверкающую перед ней снежную поляну, и это чистое сияющее небо. И во всем облике девушки, в ее ладной фигуре, гордой посадке головы, свободном жесте рук, в румянном улыбающемся лице чувствуется сила, молодость, торжествующая радость.

«Вот ведь ты какая, совсем замучила меня,— думал Аянитов.— Улыбаешься... Губы? Щеки? Скулы? Ну ладно, это получилось. Даже и они улыбаются. А глаза?.. О человеке больше всего говорят его глаза. В них все душевное состояние, вся гамма чувств. Изобразить просто радостные и просто грустные глаза не очень-то сложно. Но кого тронут такие глаза? Люди посмотрят равнодушно и так же равнодушно скажут: «Ну, веселая девочка», «Ну, обиженный мальчик». Увидят и тут же забудут. Но если ты настоящий художник, ты должен воскресить на холсте живой взгляд, проникающий в души людей, чтобы любому было понятно, отчего торжествуют или грустят эти глаза, отчего они сияют или мрачнют. Иначе люди не смогут разделить радость или горе тех, кто смотрит с твоего холста.

А глаза этой девушки? Радостные. Улыбающиеся. Задорно улыбающиеся... Но ты ведь видишь, чувствуешь: что-то в них условное, общее... Почти так же будет улыбаться человек, который получил подарок, и какая-нибудь девушка, спешащая на вечеринку, улыбается похоже. А глаза этой лыжницы должны по-другому улыбаться. Должны лучиться, сиять эти глаза, вобравшие в себя красоту, снежную свежесть и ширь родной земли, чтобы тот, кто хоть раз увидит их, запомнил их навек. А эта лыжница сияет, как медный пятак, стоит и знай себе улыбается... глуповато. Да, да, глуповато!»

Аянитов бросил кисточку и палитру на деревянный ящик, стоящий возле мольберта, и опустился в низкое кресло, покрытое медвежьей, местами вытертой шкурой. Опустил голову, уткнулся локтями в угловатые острые колени. В мастерской было душно. Лучи солнца проникали не только в окна, но и через щели под потолком, расцвечивая стены. Гудела оса, отскакивая от оконного стекла.

«Ну, вот...— Аянитов смахнул рукавом пот со лба и откинулся к спинке кресла.— Улыбается... Скажи на милость, она улыбается!..— От злости у художника сморщилось лицо и он прикусил губу.— Разве мне нужна такая улыбка? Нет, нужно другое, совершенно другое!..»

Вдруг художник весь изогнулся, схватился за правый бок, ощутив под ребрами острую колющую боль. Надеясь унять ее, он прижал ладонями болезненное место. Но разве это поможет? Казалось, под ладонями в правом боку что-то твердое, тяжелое билось о живое тело.

«Опять... Опять...»

Аянитов с трудом встал. Не отнимая ладоней от бока, шатаясь, дошел до окна, достал из маленькой коробочки желтую таблетку. Взял сверкавший на подоконнике граненый стакан с водой. Проглотил таблетку, запил ее. Затем, зажмурив глаза, лег на стоящую у стены раскладушку.

До прошлой осени Аянитов про болезни знал лишь понаслышке. К счастью, в семье все были здоровые. Порою, когда знакомые говорили, мол, нездоровится, надо пойти в поликлинику, он с осуждением думал: «Вот ведь из-за каждого пустяка к врачу бегут». А в прошлом году самому пришлось обратиться к врачу. Из поликлиники

его сразу отправили в больницу, сказав, что у него желтуха. Целый месяц он пролежал в больнице, но болезнь не отступала. На второй месяц его перевели в хирургическое отделение. Ему объяснили: «Может быть, в печени камень образовался или закупорился желчный проход. Исследуем, если надо, будем оперировать». Еще месяц ушел на бесконечные анализы. Его обследовали, просвечивали на рентгене. Потом собрались врачи и провели консилиум. А на следующее утро Аянитова вызвали в кабинет главного врача.

— Байанай Мартынович, вам операция не нужна,— сказал круглоголовый пожилой главный врач.

Аянитов было обрадовался, стал благодарить, но умолк, заметив, что главный врач отвел от него глаза и, поправляя очки, смотрит куда-то в угол. А лечащий врач, молодой человек с длинным белым лицом, глядит в окно и делает вид, будто что-то его там заинтересовало.

— Доктор, что это значит? — спросил Аянитов.

— Оперировать не будем,— тихо повторил главный врач.

— Значит, болезнь сама постепенно пройдет?

— Насчет выздоровления...— Главный врач откашлялся, снял очки, широко раскрыл рот и, подув на очки несколько раз, протер стекло лоскутком замши, затем поднес очки к свету, осмотрел их, медленно зацепил дужки за уши и, глядя мимо него, упавшим, монотонным, серым голосом произнес: — Байанай Мартынович, вы сознательный человек, сами понимаете, заболевание печени — серьезная болезнь. Сейчас еще трудно окончательно определить ее характер. Это будет выяснено постепенно, со временем. Через месяц еще раз проверитесь

в поликлинике. К счастью, предварительный диагноз может оказаться и ошибочным.

— Что же мне делать?

— Завтра мы вас выпишем. Будете лечиться дома. Лекарство, диету все вам назначат. Кроме того, за вами будет наблюдать врач районной поликлиники. Ну, вот таким образом... Главное — не падать духом.

Время шло, а Аянитову не становилось лучше. В назначенный срок он прошел проверку в поликлинике. Там выписали все те же рецепты, ничего нового не сказали. По просьбе художника историю болезни отправили на консультацию в Москву. К весне вызвали и сообщили: «Специалисты подтвердили наш диагноз. В операции или специальном лечении вы не нуждаетесь...»

Несмотря на то, что Аянитов строго соблюдал диету, аккуратно принимал все назначенные ему таблетки и порошки, он чувствовал себя все хуже и хуже. Да и настроение падало. Сколько он ни справлялся, не было случая, чтобы человек, заболевший циррозом печени (он давно знал, что у него эта болезнь, что она к тому же запущена), выздоровел. И Аянитов — зачем обманывать самого себя — давно вынес себе окончательный приговор. Некоторые, говорят, не протягивают и несколько месяцев, а некоторые болеют несколько лет. Как-то получится у него?

Аянитов лежал, кусая губы, когда боль становилась невыносимой. Все его потемневшее, исхудалое лицо покрылось бисерными капельками пота.

Во дворе собака глухо прорычала, умолкла.

Скрипнула дверь веранды. «Кажется, вышла мать...» В доме никого не было, кроме Ерени — матери Аянитова. Сардана — его жена — на работе, сын — в пионер-

ском лагере, дочь гостит у родственников в деревне, учится разговаривать по-якутски.

Дверь мастерской отворилась.

— Байанай, почему лег? — в голосе матери прозвучала тревога.

— Просто так.— Приподнявшись на локтях, Байанай силился улыбнуться.— Отдыхаю.

Не очень-то поверив словам сына, старушка еще раз внимательно взглянула на него.

— Не нужно было так переутомляться. Уже время обедать. Вскипячу чай. Может, принести, здесь поешь?

— Нет, нет,— поспешно сказал Аянитов.— Сейчас встану, поработаю.

— Когда вскипит чай, позову. А пока полежи, отдохни. После поработаешь. Ладно, Байанай?

— Ладно.

Сколько различных красок, оттенков у слова. Если тебя холодно назовет «милым» человек, который тебе не очень-то по душе, сочтешь себя оскорбленным, униженным. А если горячо шепнет любимая: «Милый!» — сразу растают и душа и сердце. Как сладко, как нежно и тепло произнесла сейчас мать: «Байана-ай...» Аянитову раньше не нравилось свое имя. В день его рождения отец, знаменитый охотник, поймал в ловушку черно-бурую лису с белой отметиной на груди. И на радостях он назвал сына Байанаем<sup>1</sup>. В школьные годы это имя служило поводом для бесконечных насмешек. Ребята то и дело дразнили мальчика. Если он получал плохую отметку: «Еще Байанаем называют. Лучше бы звали человеком, у которого нет Байаная», — хохотали они. Перед тем как

---

<sup>1</sup> Б а й а н а й — название духа, покровительствующего охотникам.

писать контрольную, его окружали с криками: «Одолжи от своего везения; Байанай», «Не обдели нас своим Байанаем». И тут же пели, гримасничая, с издевкой:

Не видел черно-бурую лису,  
Лису-огневку не встречал в лесу,  
Ни колонка, ни белки не добыл,  
Бурундука — и то не подстрелил.  
Заслышав скрип его широких лыж,  
На снег из норки вылезаетмышь,  
Кричит ему: «В меня теперь стреляй,  
Охотник непутевый, Байанай!»

В десятом классе он надумал сменить имя на Василия. Надо же было случиться такому, что в то время одной девушке, Варваре, тоже не понравилось ее имя. И стала она Валентиной. За это ей пришлось уплатить пошлину сто пятьдесят рублей. По сему случаю девушка из Варвары превратилась в «полторастарублевую Валентину». Байаная тоже грозила опасность стать «полторастарублевым Василием», и парень махнул рукой на это дело. Да и хорошо, что не сменил имени. Все-таки память об отце. Кроме того, если бы даже и превратился в Василия, мать, наверное, все равно по старой памяти звала бы Байанаем. Подумать только, как стала бы она звать чужим именем свое родное дитя?

Боль притупилась, дышалось немного легче, в глазах посветлело. Аянитов приподнялся, окинул взглядом мастерскую. Глаза остановились на портрете лыжницы. Он отвернулся к стене. «Не то, не то, совершенно не то!..»

А все же, какие должны быть у нее глаза? Какой взгляд?.. Какие взять краски, какие цвета?.. Как должны сочетаться свет, тень?.. Этого Аянитов не знает. Нельзя сказать, что совсем не знает: в каких-то глубоких тайниках сознания есть ответ, но он никак не может вос-

пользоваться им. Иногда Аянитову кажется, что эти глаза, этот взгляд находятся где-то близко, рядом, что они вот-вот возникнут на холсте во всей своей яви, что они уже виднеются сквозь какой-то густой, холодный туман. Еще немного терпения, еще одно усилие — и они запечатлены. Но, увы, глаза эти неуловимы: как только берешься за кисть — исчезают.

Но ведь не пустая мечта, не выдумка эти глаза! Он сам видел их! Аянитов готов поклясться: видел. Так же, как сейчас видит это яркое солнце. И видел он их в тот редкий момент, когда человек вдруг словно бы прозревает и совсем в ином свете предстают перед ним привычные вещи. И он постигает новые истины не только умом, но и всем своим существом.

Такое случилось нынче в феврале, в ясный холодный день. С благодарностью ли думать ему об этом дне или лучше проклинать его, — кто знает. Если бы не было того дня, не досталась бы ему эта то ли несчастная, то ли счастливая мука...

Хотя и стоял лютый мороз, все равно чувствовалось приближение весны. Аянитов тогда вышел из поликлиники в подавленном настроении. Вспоминая о том, как женщина — участковый врач — с деланной улыбкой говорила о каких-то таблетках, о диете, Аянитов медленно брел по неровному тротуару. Чтобы успокоиться, он старался думать о другом, но все время вспоминались собранные в искусственную улыбку, густо накрашенные тонкие губы врача, ее серые глаза, смотревшие на него с жалостью.

«Ну и пусть... Что же делать, если уже поздно?.. Ну и пусть...» — шептал Аянитов, отлично понимая, что в словах этих нет никакого смысла, ведь от него не зависит будущее... С таким же успехом можно твердить: «Пусть

этого не случится...» Все произойдет независимо от него, днем раньше, днем позже.

Аянитов шел бесцельно, куда глаза глядят. Очутившись около мясного базара, у Зеленого луга, удивился: «Как это я сюда попал?»

Хотел было возвратиться в центр города, но передумал. «Не стоит... Опять встречу знакомых, будут спрашивать о здоровье. Уж лучше...»

Художник спустился вниз к Зеленому лугу, зашагал в сторону реки. Густой морозный воздух с грустным, прерывистым звоном вырывался из его груди. Мерзлый снег скрипел под ногами и, казалось, взвизгивал от боли. Городской шум отдалялся, превращаясь в монотонное гуденье. Постепенно утихло и оно.

Аянитов остановился на берегу Лены, поросшем густой приземистой ивой и кустами красноватого тальника. Отдышавшись после долгой ходьбы, он повернулся и посмотрел на юг, на ледяную ленту реки. Его глаза широко раскрылись — так изумил его вид, внезапно представший взору. Аянитову почти под пятьдесят, и уж сколько раз приходилось и плавать по Лене-реке и ездить по этой неоглядной долине и зимой и летом. И казалось, уже не было на ее берегах такого, что он не видел, не могло быть. Но сейчас...

Утренний морозный туман рассеялся, и земля и небо прояснились. Над южным горизонтом висело огромное, совершенно новое, незнакомое солнце, наполняя своим сиянием все пространство между Ытык Хайа — священной горой — и противоположным берегом. И от его огненно-багрового зарева белоснежное лоно долины, загроможденная шугой широкая грудь реки, выстроившиеся в ряд голые ивы и нежные прозрачные тальники — все было в лучистой розоватой дымке, играло, радовалось,

сияло, словно хотело сказать: «Как дивно! Как хорошо в мире!» Нет, он нисколько бы не удивился, если бы в эту минуту поплыла к солнцу сверкающая долина, задорно взвихрился слежавшийся снег, и эти отливающие синевой льдины сбросили бы свои белые шапки, и распрямились бы скованные холодом согнувшиеся ивы, тальники — и закружились, завертелись и пустились в пляс.

Темные щеки Аянитова порозовели. Он поднял вспыхнувшие радостью глаза и увидел заснеженную грядку западных гор в синеватых и желтоватых пятнах света. Затем его взгляд остановился на недавно покинутом им городе. Вот он — загроможденный деревянными домишками. Лишь немногие каменные здания возвышаются в центре.

Тридцать пять лет назад мальчик Байанай, окончивший семь классов сельской школы, в торбасах из коровьей шкуры, без пиджака, в сатиновой рубашке, в штанах с заплатой на коленях, приехал сюда из тайги и впервые из-за реки, меж горными хребтами увидел раскинувшийся вдали Якутск. С тех пор вся его жизнь и судьба связаны с этим городом. Здесь он учился, здесь нашел верных друзей. Здесь его коснулись нежные, терпкие, обжигающие огнем девичьи губы. Из Якутска он ушел на войну, в Якутск и вернулся. Здесь нашлись люди, поверившие в его талант, поддержавшие в трудные дни. Отсюда его направили в Москву на учебу. Он мог остаться в столице, но вернулся.

«Якутск! Родная, теплая колыбель!.. Некоторые твои легкомысленные дети стесняются тебя, смотрят на тебя со снисхождением. Куда уж тебе равняться с выросшими на теплой земле городами, громоздящими в небо свои дома.

А я... с почтением и уважением смотрю на твои раз-

валивающиеся заборы и невзрачные деревянные дома, доживающие свой век в тени новых каменных зданий. Сколько потрачено труда на укладку деревянных твоих тротуаров, на асфальтирование каждого метра твоих площадей. Улицы, дома твои — живая память жизни нашей, труда нашего.

И если завтра мне придется расстаться с тобой навсегда, — знай, я уйду с любовью, благодарностью и благословляя тебя, Якутск».

Аянитов стоял, рассматривая город, раскинувшийся с Залога до Даркылаха. Много припомнилось ему, как бы увидел он весь свой путь от того давнего осеннего дня, когда приехал учиться в город наивный сельский паренек в шуршащих при ходьбе торбасах, до сегодняшнего дня, когда он стал известным своему народу художником. И в этих воспоминаниях не было ни малейшей тени.

Солнце, поднимаясь, карабкалось по склону Ытык Хайа, щедро разливая радужные лучи. И земля, и небо сверкали, искрились. И трепетало, играло перед ним всеми цветами радуги снежное поле. Так могла играть только шкурка белого песка, что видишь во сне. Нагроможденные по всей реке льдины, вбирая лучи солнца в свою голую, прозрачную грудь, сверкали розоватым отливом драгоценного жемчуга. Заваленные снегом ивы восседали степенно на берегах, словно гордые красавицы, накинувшие на плечи дорогие меха.

Аянитов закрыл глаза. Промелькнула в голове мысль: «Сон это или явь?» Открыл глаза. Все на месте, все подлинно. Как же он столько лет жил здесь и не видел, не замечал такую красоту, такое чудо? Или не было его прежде? Или сам он не был таким человеком, как сейчас?

Да, сегодня — самый счастливый день в его жизни: родная земля открыла, доверила ему свою сокровитную от суетных взглядов красоту. Разве может быть для художника счастье больше, чем это?

«О-о, какие мы все счастливые люди, ведь мы родились, живем и работаем на такой прекрасной земле! А ведь порой считаем себя несчастными, сетуем, что, мол, трудно нам среди вечной мерзлоты и лютых морозов.»

И ему хотелось крикнуть так, чтобы услышал его весь народ, разбросанный по берегам Олекмы и Вилюя, Алдана и Амги, Колымы и Индигирки: «Друзья, взгляните на нашу родную землю! Чего недостает нам? Есть у нас бескрайняя, белоснежная тундра, безбрежная гулкая непроходимая тайга, тянущиеся в небо голые скалистые горы и широкие круглые, нежно-зеленеющие ала-сы, необозримые долины, бурливые, могучие реки и прозрачные стремительные речки, голубые глади бесчисленных озер. Недра нашей земли полнятся золотом и алмазами. Чего у нас нет? Зима — самая лютая, а весна — самая ласковая. Все есть: и знойное лето, и плодородная осень. Радуйтесь, ликуйте, сородичи мои, высока честь жить и трудиться на этой земле! Любите, славьте этот край, родину свою».

Аянитов поднял руку, протер заиндеветшие ресницы. Нет, если бы он даже и сказал такое во всеуслышание, вряд ли бы растрогал своих земляков. Да, красноречием он не отличается. Как говорится, не умеет вить из воды веревку. Где уж ему словами выразить все, что взволновало ему душу. Он даже усомнился в том, можно ли вообще передать это словами, многие из которых истерлись в наших ежедневных разговорах. Это можно передать лишь языком цвета и красок.

«Так!.. Только так! — разволновался Аянитов. — Кистью художника! Беззвучным языком цвета и красок!»

Он торопливо отправился в город, той дорогой, которой шел к реке.

— Байана-ай, чай вскипел, — донеслись с улицы слова Еренеи.

— Ладно, ладно, мать!

Возвратившись домой, Аянитов второпях бросил на кровать пальто и шапку и сразу же кинулся к мольберту. По пути он легко и просто нашел композицию будущей картины. Раньше, прежде чем начать новую работу, он видел еще ненаписанную картину лишь в общих чертах. А в этот раз вся картина была уже сейчас ясна и зрима до каждой отдельной черточки, до самых мельчайших деталей. Вначале Аянитов работал увлеченно, ходко. Дневал и ночевал перед мольбертом, не обращая внимания на просьбы жены и матери пощадить себя. В эти дни он почти позабыл про свою болезнь. Лицо его просветлело, щеки залил здоровый румянец. Видя это и зная, что его раздражает любое напоминание о болезни, родные почти перестали мешать ему работать.

Так прошло несколько недель. И вот однажды утром Аянитов проснулся каким-то вялым. Если раньше по утрам он вскакивал с постели и, не теряя ни минуты, принимался за дело, то на этот раз он не спешил, еще долго в полудреме лежал в постели. С этого утра его творческий пыл начал ослабевать. Все чаще он бросал палитру и кисть и потом подолгу молча лежал, повернувшись к стене. Когда мать или жена, видя, как он страдает, спрашивали о чем-либо, чтобы развлечь его, он умоляюще шептал:

— О, ради бога, не мешайте. Ведь работаю я, работаю.

Бедная жена умолкала сразу. Старушка мать, недоверчиво бормоча: «Разве лежа работают», вытирала уголочком платка глаза.

Прошло полгода со дня, когда Аянитов начал эту картину. Сперва ему казалось, что он ее напишет быстро, на одном дыхании. Прежде чем чудо, которое он увидел на берегу Лены, померкло в памяти, заслонило нагромождением будней, Аянитов поспешил перенести его на холст. Сначала он писал краешек белоснежного поля, кусочек синего неба над густой тайгой, лучи яркого зимнего солнца в ветвях лиственницы. Все это выходило удачно. Но главным в картине должна была быть, по его замыслу, не природа, а девушка лыжница — средоточие и душа удивительного зимнего дня. Вся красота северного края должна была отразиться в образе девушки, в ее глазах.

Вот как все представлялось. А что вышло? За полгода Аянитов сделал много сотен эскизов. Написал несколько сотен глаз. Однако до сих пор не смог запечатлеть те единственные глаза. Когда он берет в руки кисть, они сразу исчезают, хотя только что виделись ему. Исчезают, ускользают, расплываются. И сам его замысел день ото дня становится все призрачней, все дальше он от воплощения.

— Байанай, иди, чаевать будем,— слышался голос старушки матери.

— Хорошо, иду.

«Видать, сегодня все равно ничего путного не получится», — с горечью подумал Аянитов. Медленно встал, опираясь на край кровати, снял с себя рабочую одежду, переоделся. И тут вспомнил — сегодня приглашали на собрание. Сходить, что ли, в город после обеда, развеяться.

Чтобы получше выглядеть перед матерью, ладонью растер лицо, причесал волосы и, уже взявшись за дверную ручку, оглянулся назад. Девушка смотрит ему вслед. Улыбается. Как-то ехидно. Будто говоря: «Где уж тебе, бедному, меня написать!»

Аянитов, закрыв лицо руками, застонал. Затем схватил тряпку, смочил ее край в растворителе, рванулся к мольберту. «Не смогу, думаешь. Так, да?» — еле слышно прошептал он и провел по глазам девушки кончиком тряпки. Потом вышел из мастерской.

Из города Аянитов вернулся к ночи. Темные дачные окна зияли чернотой. Откуда-то из густой тени выскочил пес Туосахта, напугал неожиданным ласковым прыжком на грудь.

— Ну ладно, ладно, — пробормотал Аянитов и тихо зашагал по дорожке к веранде, открыл дверь и, боясь разбудить родных, стал пробираться в свою комнату. Но тут послышался голос матери:

— Чайник теплый на печке. Или будешь, милый, молоко пить?

— Не буду, мать. Я сыт. Спать хочу.

Когда Аянитов зашел в комнату, его окликнула жена:

— Ложись, я тебе постелила.

— Спасибо, спи, спи...

— Что так поздно, Байанай? Мы ждали, ждали...

— На собрании был,— ответил Аянитов.

— Всю ночь-то? — недоверчиво спросила женщина и, опустив голову на подушку, проговорила с укором:— Беречься бы не мешало.

— Ну, хорошо, хорошо. Завтра...

Аянитов разделся, лег, закутался в одеяло. Он и сам точно не знал, что имел в виду, произнося это слово «завтра»: то ли он начнет беречься с завтрашнего дня, то ли объяснит завтра, почему опоздал. А Сардана тоже не стала выяснять и, довольная тем, что муж благополучно вернулся, тут же уснула.

Байанай лежал на спине утомленный, обессиленный. Теперь он жалел, что поехал в город. Вечно у него так получается. Как говорят, задним умом крепок. Сколько раз мучился из-за того, что нужные слова и понимание ситуации приходили к нему с опозданием, когда в них уже не было надобности.

На это собрание комиссии по отбору работ художников для зональной выставки Восточной Сибири и Дальнего Востока можно было и не ходить.

В число отобранных работ включили одну большую картину Аянитова «Оленевод», которую он написал прошлой зимой. Никто не возражал, все хвалили, называли ее «гордостью якутского изобразительного искусства». Да и женщина-искусствовед, приезжавшая весной из Москвы, написала о ней добрые слова в газете «Советская культура».

На картине Байанай изобразил пожилого оленевода на фоне многочисленного оленьего стада. Этот человек, прочно стоящий в оленьих унтах на утрамбованном снегу,— подлинный хозяин тундры. Спокойно, с достоинством обзеревают бескрайнюю снежную пустыню его зоркие глаза.

Поначалу, когда картина была закончена, Байанай и сам был доволен ею. А потом стал находить недостатки. Теперь бы он эту картину написал несколько по-другому. Иначе бы засветился снег, мудрая, добрая лукавинка тронула бы лицо старика. Да что об этом жалеть, все равно не написать заново.

Кстати, сегодня опять обрадовали графики. Принесли много новых работ. Почти все они поражают своей новизной, свежестью. В каждом листе мысль, волнующая, пытливая. Душа радуется, какие все-таки талантливые ребята. Замечателен путь, который прошли они за последнее десятилетие, от попыток рисовать «оригинально», «сложно» — к большому искусству широкого, правдивого изображения жизни. А большое искусство всегда близко, понятно всем людям. Наши графики прославили якутское искусство не только в Советском Союзе, но и во всем мире. А достижения наших живописцев скромны. Но придет время... Наверное, тогда меня уже не будет на этом свете. Если мои работы стали бы хоть одной ступенькой для будущих живописцев большого таланта, то я бы считал, что не зря жил на земле.

Байанай не мог уснуть, снова подступила боль. Сбросив одеяло к ногам, он беспрестанно вертелся: никак не лежалось ни на боку, ни на спине, ни на животе. Наконец повернулся к стене и стал, сбиваясь, считать шепотом. Но вдруг так схватило правый бок, что от острой режущей боли потемнело в глазах! Не в силах стерпеть ее, Аянитов, сжав зубы, сдерживал вырывающиеся стоны и в то же время, чтобы не разбудить и не пугать родных, делал вид, будто не стонет, а кряхтит, ворчит во сне. Надеясь, что боль пройдет, свернулся в клубок. Но она усиливалась, и перед его глазами поплыли зеленые, красные, желтые круги.

Больше Байанай не смог выдержать. Медленно приподнялся, взял одеяло под мышку и крадучись вышел в коридор.

— Ты куда, сынок? — услышал он шепот матери.

— В мастерскую.

— Что... опять печень? — настороженно спросила мать.

— А-а, нет... Душно... Там прохладнее.

— Погоди-ка.— Было слышно, как старушка возится на кухне. Сняла чайник с печки, налила воду в резиновую грелку, протянула ее сыну: — Положи на бок. Пригреет — скорей уснешь.

«Бедная мать,— думал Аянитов, осторожно спускаясь с лестницы веранды.— Всю ночь бодрствует. Видно, чует сердцем, что обманываю ее. Она больше мучается от моей болезни, нежели я сам...»

Закрыв за собой дверь мастерской, Байанай дал волю стонам, которые до сих пор сдерживал. Постоял, прислонившись к стене. Затем принял лекарство и, положив грелку под бок, лег на раскладушку.

«Сразу после собрания домой нужно было вернуться,— с сожалением подумал он,— а я...» Он уже хотел было уйти, когда его схватил за руку Турантаев — седоволосый, моложавый художник, которого знакомые звали просто Турантаем.

— Постой, Байанай Мартынович. Погоди! Сейчас пойдем ко мне.

— Зачем?

— Ха, что значит «зачем»? Сегодня у меня день рождения, заодно «обмоем» работы наши, отобранные для выставки. Обязательно надо «обмыть». Старое вспомним.

— Но ведь, сам знаешь, не могу я... Да и какое со мной веселье?

— Ладно, ладно. А ты не пей, просто побудь с нами. Если не пойдешь — обижусь.— И, отпустив его руку, крикнул через зал:— Коля! Вася! Андрей! Ну, давайте, давайте.

Не обижать же приятеля. Аянитову пришлось идти. Раньше, когда был здоров, частенько бывали вместе. Если сейчас откажется, на болезнь скидку не сделают, решат, что заважничал. Чего доброго и ругаться начнут: «Подумаешь, какие у него картины!»

Хотя и были приглашены на день рождения, по пути остановились у продуктового магазина, устроили складчину, купили вино, селедку и колбасу. Дошли до дома Турантая. Дверь заперта. Это нисколько не смутило хозяина, он вытащил из-под половицы ключ.

— Слушай, а жена не знает, что у тебя день рождения? — удивленно спросил кто-то из гостей.

— Разумеется, знает, а как же? Но она любит готовиться заранее, приглашать гостей за несколько дней. А когда так вот, без приготовлений — смущается, уходит,— пояснил Турантай.— А по мне лучше без лишнего шума, просто собраться и посидеть. Ведь лучше так, друзья?

— Да, да.

Не стали возиться с печкой, готовить горячее, нарезали колбасу и селедку, разложили по тарелкам. Решив: «Зачем горячий чай в такую жару»,— взялись за бутылки. Поздравили хозяина с днем рождения, выпили по рюмке, хотели закусить, а хлеба нет. Погремев посудой в шкафу, стоящем за печью, Турантай выскочил на улицу и тут же вернулся с большой буханкой хлеба в со-

провождении низкорослого человека в старой майке, туго натянутой на широкую грудь.

— Мирон — близкий сосед и сердечный друг, — представил он его гостям и протянул Мирону стакан с вином.

— Давай пропусти вот этот, штрафной.

— Перед тем как выпить, поздравь хозяина дома с днем рождения, — предложил один из гостей.

— Как? — Мирон задержал стакан у рта. — Ведь и в прошлую среду говорил, что день рождения!

— Да, так, говорил. Ну и что? То был день рождения жены! Ладно, нечего вести следствие. Пей, — поторопил Турантай. — Люди ждут.

— Верно говоришь. И в самом деле, какая разница, кто когда родился. Было бы угощение. — Мирон опрокинул стакан.

Начали разговаривать, вспоминать разное, хвалить друг друга.

К заходу солнца пришла хозяйка дома. Начала готовить обед. А тем временем кто помоложе помчались в магазин.

Байаная надо бы уйти раньше, да задержался, а теперь и вовсе неудобно отказаться от предложения хозяйки пообедать с ними.

Когда в пылу хвалебных речей дошли до «гения» и дальше идти было некуда, разговор принял другой характер: начались взаимные нарекания и придирки. Аянитову пришлось мирить гостей.

Заметно вечерело. Время ужинать, а тут обед все никак не сварится. Лишь за полночь Байанай улучил момент, вышел подышать и направился домой. Добирался до Сергеляха пешком, — автобус уже не ходил.

«Жаль, целый день пропал зря. Подсчитать бы, сколько дней, часов прошло так бесцельно в молодые годы, —

подумалось Байанаю.— Какие мы все глупые. Транжирили время, будто нам дано жить бесконечно. А человеческий век короткий. Особенно для таких, как я. Кому-кому, а уж мне нужно было бы дорожить не только каждым днем, но каждым часом, минутой. Да ладно, чего там жалеть, когда поздно... Пстой-ка, действительно ли я каюсь в прожитой жизни? Отказываться от угощений, обходить веселые компании из-за страха, как бы не сделать лишней глоток, неверный шаг, вечно следить за собой, чтобы не промолвить ошибочного слова,— что хорошего в такой жизни? Нужно работать, радоваться и грустить вместе со всеми, петь и веселиться вместе со всеми. Короче, нужно прожить как подобает человеку с добрым сердцем и открытой душой... Но, видимо, во всем нужна мера. Что ни говори, как ни оправдывайся, у меня были дни, даже недели, проведенные в совершенно бессмысленном веселье, от которых затем оставалось одно чувство горечи».

То ли от лекарства, то ли от грелки боль понемногу утихла. Он повернулся на спину, не спится. Думать бы о чем хорошем, но приходят только черные мысли.

«Ну что же, если сам не могу успокоить себя, попросим других. Помоги, поэзия! «Мы все, родившись, солнце видим, мы все, родившись, встретим смерть...» Какие мужественные слова. Словно аккорды реквиема. Да, так звучат эти стихи Ойунского<sup>1</sup>. А вот еще его строки: «И я умру, мой прах исчезнет. Травой мой холмик порастет. Но мной оставленные песни в столетьях сохранит народ». Как верно сказано. Забыты имена многих людей, которые в его время были на вершине славы, считали

---

<sup>1</sup> Ой у н с к и й — основоположник якутской советской литературы.

себя хозяевами настоящего и будущего. А кто сейчас из якутов не знает Ойунского, его бессмертных песен? Они стали неразлучными спутниками наших детей. Пока живет язык якутский, не будет забыто славное имя Ойунского. Из года в год будут звучать его прекрасные песни. Таково назначение людей, подобных ему. По-другому и быть не может.

А как остальные? Какова судьба тех трудолюбивых людей, которые в меру своих сил творили доброе, хорошее, всю свою жизнь посвятили родному народу. Неужели они обречены на забвение? Ведь мы поминаем добрым словом многих из тех, кто жил и трудился раньше нас. А почти все они не были ни великими, ни исключительными людьми.

«...В столетьях сохранит народ...» — повторил Байанай. — Это не о таких, как я, сказано. Разве я — выдающийся, большой художник? Как и все другие люди, я обязан оставить после себя что-то хорошее. Но какую же память я о себе оставлю? Две-три картины из прежних работ, возможно, до поры до времени не позабудутся. Все мои надежды — картина, которую пишу. Она — моя лебединая песня, мое завещание. Она должна быть написана так, чтобы каждый, кто ее увидит, стал лучше, чище, добрее. В ней должна отразиться моя душа, моя любовь, восхищение родной землей. Беззвучным языком красок я должен запечатлеть радость жизни, сказать свое слово грядущим поколениям: «Будьте счастливы, люди!..»

Но почему, почему я не могу закончить эту картину? Почему она пишется так тяжело? Может быть, я преувеличил свои способности. Может, другие считают меня талантливым по ошибке или говорят так из жалости? Тогда выходит, что все муки, стремления, борьба — все

напрасно. Все исчезнет без следа, словно капля воды, упавшая на песок...

Нет! Неправда! Глаза мои — зоркие, правдивые, пальцы мои — чуткие, пальцы художника! Допишу! Закончу! Никакой смертельный недуг не сломит меня. Не поддамся!»

Аянитов, крепко сжав губы, лежал, уставившись на окутанный сумраком дощатый потолок. Долго так лежал.

Постепенно веки широко раскрытых глаз стали смыкаться. И, уже почти засыпая, он повернул лицо в сторону мольберта, стоящего у окна. В светлых сумерках летней белой ночи Байанай увидел лицо девушки и испуганно вскрикнул. Девушка с болью и ненавистью смотрела на него пустыми глазницами: «Вот как ты меня изуродовал и почиваешь себе! Ты! Ты!..»

Дрожь пробежала по всему телу Байаная, словно его с головы до ног окатили ледяной водой. А пустые глазницы, все больше расширяясь, чернели, приближались к нему. Они надвигались на него, страшные, бездонные, дыша студеным холодом... Байанай вскочил, отшвырнул грелку, подбежал к мольберту, повернул его лицом к стене и оттолкнул.

Затем снова лег в постель. Натянул одеяло на голову. «Спать надо, уже глубокая ночь. Хватит думать. Так можно и с ума сойти... Буду считать до двухсот. Один... два... три...» Сбиваясь со счета, еле дошел до сорока. «Что со мной? За что такое наказание?! Во сне это или наяву?» Аянитов крепко зажмурил глаза и уткнулся лицом в подушку. Не помогло. Пустые глазницы девушки проникали сквозь холст, сквозь одеяло, сверлили его затылок.

Аянитов лежал не шевелясь. Его сковывал страх.

И уже казалось, что не глазницы, а громадные кроваво-черные страшные глаза, прилипшие к его затылку, все глубже проникают в мозг, впиваются, словно ржавые гвозди.

«О-о, что за мучения!..» — прохрипел Аянитов и выскочил на улицу, резко распахнув ногой дверь.

Якутская белая ночь. Все вокруг — и небо, и земля — словно покрыты тончайшей молочно-белой пеленой. Дремлют сосны, опустив свои упругие ветви.

Аянитов прислонился к толстой сосне. Ночной прохладный воздух нежно обнял его. Босые ноги утонули в росистой прохладной траве. И все тяжкие видения, только что мучившие его, отлетели, рассеялись.

Байанай стоял молча, упершись лбом в бугристую кору дерева. Он жадно вдыхал ночной густой воздух, словно человек, утоляющий жажду из туеса с холодным ымданом<sup>1</sup> в горячую пору сенокоса.

«О-о, мой милый сайылык<sup>2</sup>, ...до чего здесь хорошо... — подумал он с нежностью. — Сколько раз я приходил сюда растерянный и разбитый, с путаницей мыслей, с поникшей головой, и каждый раз спасали меня эти громадные сосны, эта раскидистая береза, эти живые цветы! Спасибо вам... Бесконечное вам спасибо, мои зеленые ангелы-хранители!»

Аянитов прижался щекой к теплой коре сосны, погладил ладонью ее шершавый ствол. Затем глаза его остановились на другой сосне. Он подошел к ней и улыбнулся:

---

<sup>1</sup> Ы м д а н — напиток, приготовленный из сметаны.

<sup>2</sup> С а й ы л ы к — летняя усадьба, летнее жилище.

«Не завидуй подруге, зависть плохое чувство». Он ходил по ночной поляне, называя деревья ласковыми именами, шепча им слова приветов. И вот остановился возле одинокой березы.

«С белой, тихой ночью, березонька моя! Знаю я, сколько ран на твоей груди. Ты все вынесла. Твои глубокие раны затянулись, да? Знаю, ты еще долго будешь цвести и зеленеть. Еще долго. Многие годы. А я?.. Зачем скрывать? Скоро меня не станет. Ты каждую весну будешь расцветать, покрываться новой листвой, и будут играть в ней солнечные лучи, которых мне уже не увидеть. Ничего, увидят друзья мои, увидят мои дети». Байанай, закинув голову, взглянул на бледное небо.

Стукнула дверь веранды. Аянитов испуганно оглянулся и спрятался за березу.

— Байанай...— слышался шепот жены.— Байанай-ай!..

— Я... я... Сардана...— Байанай незаметно смахнул рукавом слезу со щеки.— Что?

— Почему ты здесь? — Сардана подбежала к нему.— Ты совсем раздетый. В нижней рубашке... Босиком! Простудишься, роса холодная.

— Нет, нет. Тепло мне, тепло.

— На, надень эти,— Сардана сняла тапочки, прикрыла спину мужа своей шерстяной кофтой.— Надень эти тапочки... прошу тебя...

— А ты?..

Женщина коснулась босыми ногами его ног.

— Ой, как ледышки... Прошу... Надень...

— Ну ладно...

Сардана поправила кофту на спине мужа.

— Байанай, что случилось? Почему не спишь? Опять критиковали друг друга на собрании, что ли?

— Нет.

— Не заболел ли?

— Нет, Сардана, нет.

— Тогда почему здесь стоишь? Пойдем в дом.— Женщина потянула его за руку.— Пойдем... Мать еще не сомкнула глаз.

— Постоим немного, Сардана.

— Уже поздно.

— Ну совсем недолго.

— Байанай, что с тобой?

— Ничего, ничего...

— Ты что-то скрываешь от меня.— Сардана, склонив голову на плечо мужа, нежно прошептала: — Ну, скажи, милый! Если горе — давай поделим на двоих, если радость — вдвоем порадуемся. Скажи, не таись от меня.

— Нечем порадовать тебя.

— Ну, пусть. Только скажи, милый...

Аянитов прислонил голову к березе и тихо прошептал:

— Работа не идет. Сегодня с самого утра мучился с картиной... Все, что ни делаю,— зря.

— Не говори так...

— А чего же не говорить, если это правда? Кажется, умер уже художник Аянитов...

— Ты что, Байанай!

— Какая польза себя обманывать?

Сардана глядела на морщинистое лицо мужа, на его тонкую шею жалеющим, ласкающим взглядом.

— Байанай! — начала она взволнованным голосом.— Да, обманывать себя не стоит... Но ты ведь сам говорил не раз: только бездарные люди работают легко. Ты хочешь походить на них? Разве настоящее произведение может быть создано без мук и страданий?

Аянитов стоял молча, опустив голову. Сардана двумя

руками взяла мужа за щеки, повернула к себе и взглянула ему в глаза.

— Байанай, я тебе когда-нибудь лгала?

— Нет,— твердо сказал Аянитов.

— Ты мне веришь?

— Верю.

— Тогда слушай. Ты напишешь свою картину! Создашь такую чудесную картину, которая восхитит всех.

Аянитов отнял от своего лица ладони жены, поцеловал их и, склонив голову, проговорил тихо:

— Спасибо, милая...

Вдруг из лесу выскочил Туосахта, запрыгал вокруг них, но, видя, что хозяева не обращают на него никакого внимания, отошел. Тут же из-за большой сосны вылетела летучая мышь и стала летать над ними. Аянитов стоял так, будто ничего не видел, не слышал. Сардана, ожидавшая от него каких-то слов, не выдержала:

— Ну, пойдем. Уже светает...

— Спасибо...

Сардана взяла было мужа за руку, но от этого слова, сказанного отрешенно, шепотом, остановилась. Байанай какими-то ставшими неподвижными глазами смотрел вдаль, его смуглое лицо с глубокими морщинами будто окаменело.

— Байанай, родной мой, ну что же с тобой?..— дрогнул голос женщины.

Мужчина даже не шелохнулся.

Женщина дотронулась до его плеча кончиками пальцев.

— О чем думаешь? Скажи...

Аянитов вздрогнул и посмотрел на нее так, словно только что проснулся.

— Ну, говори же...

Аянитов вдруг приподнял голову и взглянул на жену совершенно иными, потеплевшими глазами, полными жалости и раскаяния.

— Ты помнишь нашу первую ночь?..

— Пом-ню...— удивленно прошептала женщина.

— Тогда была такая же молочно-белая ночь. Мы с тобой прогуливались по Зеленому лугу...

— Все помню, друг мой, все...

Байанай нежно откинул вверх прядь волос, упавшую на лоб жены.

— Родная, прости меня...

— Что?.. Что прощать?..

— Я, наверное, много раз огорчал тебя... Прости за все.

— Да ты что, Байанай? Не надо...

— Милая, не говори так. Было на что обижаться.

— Если даже и была обида, то она давным-давно забыта. Как облачко растаяла. Благодарю судьбу за то, что встретила тебя...

— Ну ладно, пусть будет так.

— Верь мне...

— Верю...— Аянитов приник ко лбу жены, ощутил ее нежный запах, погладил ей спину и прошептал глухим срывающимся голосом: — Запомни, дорогая, запомни: я всегда о тебе думал только хорошее. Только ты — моя единственная, моя первая и... последняя любовь...

— О-о, Байанай... У меня тоже — только ты...

«Только ты...» Некоторое время они стояли неподвижно, убаюканные волшебством этих двух слов, вобравших в себя прошлое, настоящее и грядущее. Затем, осторожно высвободив руки, сплетенные в объятьях, посмотрели в глаза друг другу, улыбнулись.

— До чего хороша эта белая ночь...— Вся просветлевшая Сардана привстала на цыпочки и, словно готовая взлететь в небо, раскинула руки.— Взгляни, Байанай, вся земля радуется вместе с нами... Нас благословляет эта белая ночь..

Поздний час ночи. Все живое спит крепким сном, все вокруг замерло. Тишина... И в эту гулкую тишину тяжким камнем упали слова Байаная:

— Сколько раз еще увижу такую белую ночь?! Скажи...

— Что ты говоришь, Байанай?

— Ты знаешь...

— Ложь! Неправда! Я ничего не знаю! И знать не хочу! — сквозь слезы заговорила Сардана и упала на грудь Байаная, обняла его изо всех сил двумя руками.— Я тебя никуда не пущу! Слышишь ты! Ты всегда будешь со мной! Мы никогда, никогда не расстанемся! Слышишь?

— Слышу, дорогая, слышу. Прости меня... Я сказал не то... Мы всегда будем вместе. Всегда... Эта чудесная, прекрасная земля, это просторное небо, эта белая ночь вечно будут наши...— Дрожащими руками Байанай погладил голову жены.— Так ведь, милая?

— Так, так...

Аянитов проснулся раньше всех, но он притворился спящим и лежал тихо. Он слышал все: как жена разговаривала шепотом с его матерью на кухне, как она одевалась, чтобы идти на работу, затем, как она вышла из дома, осторожно прикрыв дверь. Был бы Байанай один, давно бы поднялся, но из-за матери не встает. Мать его радуется, когда он спит дольше.

Утихли голоса дачников, идущих к автобусной остановке, чтобы ехать на работу. Послышался рокот автомобильных моторов, гудки зачастили. Вскоре опять стало тихо. Только со стороны шоссе, поднимающегося к поселку у подножия горы, доносился отдаленный глухой гул грузовиков.

Аянитов поднялся, когда солнце было уже высоко и стали заметно припекать его лучи, пробившиеся сквозь ставни. На радость матери, он несколько раз протяжно зевнул. Выйдя во двор, поразмялся, умылся и, поев, отправился в мастерскую.

Аянитов повернул мольберт и поставил его на место. Недописанная картина. Вот и все. Почему он так разволновался ночью?

Держа палитру и кисть в руках, сел в кресло напротив картины. Раньше он перед работой испытывал духовный подъем, прилив сил. Но сегодня... Ни в голове, ни в груди ничего не осталось, все опустело. Он все же, как обычно, выжал краски из тюбиков. Стал смешивать кистью разные цвета и пробовать их о край палитры. Нет, нет, не то. Сегодня он не в состоянии работать. Пока не замучился, лучше перестать. Побродить сейчас за дачей, в сосновом бору, развеяться.

Проходя мимо кухни, Аянитов крикнул в окно:

— Мама, я в лес пошел погулять! Скоро вернусь!

— Смотри далеко не ходи!

— Ладно!

В небе ни облачка. Синее-синее, просторное, высокое-высокое. Жжет солнце. Такая жара, что смола каплет с сосен. Видимо, про такой день Ойунский написал: «Ну и солнце, испепеляющее, обжигающее, веселое!..» Отличные стихи. Кажется, и сами эти слова пламенем обжигают, ярко сияют. «Постой-ка, что же есть у нас, у художников,

подобное этому? Кажется, ничего... И мы еще считаем, что хорошо воспели родной край!..»

Аянитов миновал дачи и вышел к сосновому бору, в котором местами росли редкие лиственницы. Весь пестрый от теней лес пьянил ароматом талой земли, сосновой хвои и лиственничных ветвей, воздух вливался в грудь густым сладким потоком.

Байанай шел, ни о чем не думая, просто шел вперед, тихо напевая какой-то мотив. Лиственниц становилось все больше. Вскоре бор кончился, и Байанай оказался в густом лиственничном лесу, поросшем кустарником и брусникой. Тени здесь были гуще и воздух прохладнее. И все вокруг звенело, звучало! И казалось, это не только пение и перекличка птиц,— казалось, и каждая ветвь лиственницы имеет свой собственный голос, свою собственную песню... «До чего хорошо!..» — восторженно воскликнул Байанай. И тут из-под его ног выпорхнула совсем крохотная пичужка с желтой грудкой и села на нижнюю ветку лиственницы, прямо уставившись на него. И затем, вертя головкой, приняв угрожающий вид, стала быстро-быстро тараторить — ругать его. «Нет-нет, дружок, разве я справлюсь с тобой?! Удираю-ю... удираю...» — со смехом прошептал Байанай.

Лес поредел. Остались позади громадные лиственницы, и за шеренгой темного тальника явились раскидистые ивы. А еще дальше, слева от высокого холма, белела березовая роща. Аянитов заглянул туда и увидел: березы стоят в ряд, опустив яркие зеленые листья, касаясь друг друга, сцепившись серебристо-белыми ветвями, словно девушки-стерхи, взявшиеся за руки в хороводном танце осоухай<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> О с о у х а й — народный танец на празднествах.

Байанай, когда ездил в центральные области, видел рослые высокие березы, уходившие своими вершинами в небо. Но он говорил себе: «Наши березы красивее, нежнее...» Получалось прямо как в поговорке: «А мой-то ребенок в черных замшевых чулках»<sup>1</sup>.

Каждую березу, попадавшуюся ему навстречу, Байанай звонко похлопывал ладонью, словно здороваясь, и все шел в глубь леса. Он знал: есть здесь кругленькая, как блюдце, полянка, посреди нее — маленькое озерцо, которое в засушливую осень высыхает.

Вступив на край поляны, Байанай застыл в изумлении перед открывшейся ему картиной. Поляна вся пестрит, переливается синими, красными, желтыми, белыми цветами. Они будто славят и приветствуют это высокое чистое небо, это сияющее жаркое солнце, благодатное зеленое лето.

Осторожно ступая, Аянитов дошел до середины полянки. В старину «ысыахом цветов» называли такое обилие цветов. Ысыах цветов... Как в детстве Байанай закружился, раскинув руки. И вдруг с каким-то странным восклицанием остановился и застыл с раскинутыми руками и раскрытым ртом. Некоторое время он стоял так, затем пробормотал: «Смотри... смотри...» Раньше он никогда не расставался с этюдником, но в этот раз, как назло, пришел без него. Неотрывно глядел он жадными глазами на середину поляны, как будто боялся, что чудо, открывшееся ему, сейчас исчезнет.

Чудо, которое увидел Аянитов, было озерцо, нет, даже не озерцо, а лучи солнца, играющие, переливающиеся на его глади. Это маленькое озерцо блистало и тор-

---

<sup>1</sup> Якутская поговорка: «Ворона, не находя, чем бы похвалиться, сказала: «Мой-то ребенок в черных замшевых чулках».

жествовало, вобрав в себя всю красоту дня, приняв на свою прозрачную грудь все цвета и краски, весь свет и блеск росшего вокруг зеленого нежного леса. И яркий праздник цветочной полянки, и нежность серебристого необозримого неба, и щедрость солнца. «Вот это! Это и есть! — взволнованно подумал Байанай.— Это — глаза моей девушки! Это сияние ее глаз, то, которое я искал днем и ночью, вот уже полгода! Запечатлеть!.. Сейчас!.. Сейчас!..»

Аянитов со всех ног бросился назад. Поравнявшись с березами, испуганно оглянулся — поляна на месте! Он бежал, не разбирая тропы, не огибая ни густых зарослей кустарника, ни упавшего дерева, бежал, бежал! У него одна мысль, одно желание: сейчас же он принесет из дома холст и напишет глаза девушки! «У нее будут глаза! Тогда она взглянет широко и открыто своими чудесными, как озерцо, глазами на весь белый свет, на всех людей. Быстрее... Милое солнце, пожалей меня, удержишься...»

Он пересек густой лес, поросший кустарником, и теперь бежал сосновым бором. Бежал задыхаясь, ловя воздух раскрытым ртом. Еще никогда в жизни так сильно и страстно не желал он иметь быстрые ноги. Солнце, подожди! Облака, уходите!..

На всем бегу Аянитов вдруг остановился. Заколело в правой части живота. Какая острая боль! Что-то темное, тяжелое заслонило глаза.

— О-о, несчастье!..— пробормотал Аянитов, схватившись за сосну.— Уймись, боль, уймись... Успокойся... прошу...

Но боль усилилась, разлилась по всему телу огненным потоком...

— Ну, успокойся... Ты же ведь всегда проходила? — умоляюще прошептал Байанай и стал гладить больное

место. «О-о... какое горе... А я думал: сколько еще лет или месяцев осталось мне жить? Многого, видимо, хотелось мне — годы, недели... Какая ужасная боль... Неужели не пройдет? Неужели вот сейчас... последний приступ? Судьба, слушай меня... Многого не прошу: ни года, ни месяца. Отпусти мне хотя бы неделю, ну несколько дней... Хотя бы один день... один час отпусти мне... Я нашел чудесные глаза. Нашел... Мне нужно запечатлеть их... Слушай... Умоляю!..»

На его бледные щеки скатились прозрачные капли: то ли холодный пот, выжатый страшной болезнью, то ли слезы.

Аянитов распрямился и, шатаясь, опираясь руками о деревья, двинулся вперед. Неодолимое, страстное желание влекло его вперед.

А солнце сияло.



## *Осенний вечер*

Мы охотимся загоном на зайцев. Сырой осенний вечер. Огромный кострище аж подпрыгивает в непроглядное небо, извергая снопы искр. Кипят-бурлят два котелка, до отказа набитые зайчатинной.

Невдалеке от меня, вспоминая сегодняшнюю охоту, переговариваются парни, подтрунивают друг над другом — зазевался ли кто, промазал ли. То и дело взрывается веселый хохот. И чудится при этом: костер вспыхивает еще ярче.

— Вот он, старик, стрелял! — тошенько прокричал паренек, прозванный Тугутом, олененком, и показал пальцем в мою сторону. — Он промазал!

Я обернулся, чтобы посмотреть на старика мазилу. Но никого за мной не оказалось. Лишь толщенная, изборожденная трещинами кора лиственницы багрово расцветивается в отблесках огня и тут же чернеет.

Парни, искоса поглядывая на меня, засмеялись. Выходит, это меня Тугут назвал стариком. Все вокруг как-то сразу помрачнело. И словно в сегодняшней охоте не было ничего такого, что приятно вспомнить... Я не склонен считать себя никудышным стрелком. Но не то обидно, что

он сказал «промазал» (с кем этого на охоте не случается!), а услышать о себе «старик». Неужто, думаю, так сразу и стал стариком? Сижу и заслоняюсь руками от пламени. Кажется, совсем недавно, вчера, я был таким же молодым, как эти шельмецы...

Видать, ему, Тугуту, и в голову не приходит, что вот обидел человека. Знай себе болтает, что он ни разу не мазал, а все «этот старик» посылал пули за молоком, и всякое другое в подобном роде.

Сижу и думаю о жизни человека, от начала до конца которой, как у нас говорят, кинь сучок — и достанешь. Все это, конечно, так и не так. Зависит от того, как пройдешь свой путь... Думаю о жизни, и постепенно горечь моя рассеивается. И правда, экая беда, что какой-то озорник назвал меня стариком. Главное в том, что я сам о себе думаю. Если не принимаю на свой счет, когда про меня говорят «старик», и оборачиваюсь назад, — значит, еще далеко до старости. Решив так, я вскочил на ноги. Потянуло меня пошутить, посмеяться вместе с парнями. И, словно подбадривая меня, ярко полыхнуло пламя костра.

Эх, сколько бы ни падало на голову снега, сколько бы ни набежало годов, чувствовать бы себя молодым и каждый раз, когда окликнут тебя: «Старик!», оглядываться назад!..

*Повесть*

## *В двух шагах от школы*

*(Дневник десятиклассницы)*

*3 апреля.*

Сегодня первый день после весенних каникул. Думала, неделя — это много, все по дням рассчитала: когда куда пойти, что прочитать, да все какие-то новые дела, а сейчас даже не вспомню, на что ушло время. И все же неделя — это много. Девчонки наши утром так галдели, будто год не виделись. А Айта Очурова за каникулы брови себе чуть не все повыщипала — для красоты. Вот, наверно, больно-то было! Косу на макушку подняла, спиралью закрутила, говорит, самая модная прическа — «башней» называется. Только башня у нее перекосилась.

Историк наш Вячеслав Иванович как увидел Айту в коридоре, так и обмер. Он у нас вообще-то на язык острый, а тут ничего не сказал. Постоял, посмотрел и пошел дальше. Два раза оглянулся.

Говорят, Айта познакомилась с каким-то моряком. Врут, наверное, откуда быть здесь моряку среди зимы? И чего это я все об Айте?

Есть новости поважнее: завтра идем на практику, весь наш десятый класс. На двадцать дней. Ребята на механический завод и в гараж, а девчонки — на швейную фабрику, на телеграф и в гастроном. Меня — в гастроном, торговать буду.

Айалу в гараже придется, хоть он и мечтает стать физиком. Нет у нас в городе для него подходящей практики.

Утром Айал спросил меня:

— Почему ты в магазин согласилась?

— А потому, что это лучше, чем сидеть целый день за телеграфным аппаратом или у швейной машины.

— Только поэтому?

— А почему бы еще?

— А кем ты думаешь быть?

Что я могла ответить? Отошла от него тихонько. Кем я думаю быть? Вот уж на самом деле, чего не знаю, того не знаю.

Айалу-то хорошо. Он знает, чего хочет. Уедет, поступит на физический факультет. В гараже ему, конечно, неинтересно будет. А я... И правда, что мне делать? В институт пойти? Но в какой? Или на производство?

Сегодня в школе сказали: «Отмечайте, записывайте, что и как вы делали на работе. Потом отчитываться будете». Вот я и решила дневник вести. Дело-то знакомое. Раньше на меня тоже такой стих находил, да пройдет несколько дней — и заброшу. Писать нечего, каждый день одно и то же. «Проснулась, позавтракала, в школу пошла». Ничего интересного! Хоть бы я отличницей была, что ли, или старостой. А то ведь так как-то все...

Ну ладно, уж двенадцать скоро. Спать пора.  
Завтра утром в школу не пойду.  
Пойду в магазин.  
И не покупать — продавать.

*4 апреля.*

Как я устала! Глаза слипаются! Так бы и уснула сейчас, уткнувшись в подушку. Да ведь нельзя! Силу воли проявлять надо. Дневник пишу.

Сегодня утром часов в девять завуч Олимпиада Филипповна повела нас шестерых в центральный гастроном. Директора не было, уехал в управление, и попали мы к его заместителю.

— А-а! Молодая смена! Пожалуйста, пожалуйста! Проходите, садитесь! — Он как будто нам обрадовался. — Жду вас, как весеннее солнышко, или, как у Александра Сергеевича сказано... — заместитель директора повертел ладонью, — как там было сказано? Помогите, девушки!

— А у какого Александра Сергеевича? — спросил уж не помню кто.

— Пушкин! Стишок у него был один.

— Так ведь у него не одно стихотворение, много их, — вставила острая на язык Таня Табунанова.

— Да, да, вообще-то так... Ага, вспомнил! Такой стишок, вроде: «Молодой человек — свиданья ждет».

— «Как ждет любовник молодой минуты верного свиданья!» — подсказала Айта.

— Вот! Вот! Так же и мы ждали вас. — Замдиректора подкатился к нам и с каждым поздоровался за руку. — Будем знакомы. Иван Иванович.

— Таня! — Табунанова подала заместителю руку, хихикнула и язык высунула. У нее привычка такая, стереотип называется.

Заместитель улыбнулся, погрозил ей пальцем.

А Айта представилась ему так:

— Айта Леонидовна.

— Ого! — сказал заместитель и уставился на ее высокую прическу.

— «Любовник молодой», — прошептала Таня мне на ухо.

Я чуть было не прыснула. Заместитель низенький, толстенный. Что вдоль, что поперек — одинаково. Ну прямо колобок! Не ходит, а катится. Голова как шар, и ни одной волосинки. Глазки узенькие, щелки поблескивают между веками.

Всех распределил по отделам, только мы с Айтой остались.

Иван Иванович говорит:

— Еще одного человека в рыбный отдел можно, а кто останется, того на Нагорную улицу, там наш филиал, две продавщицы, одна в отпуск ушла — туда обязательно надо.

— Я в филиал не пойду, — сказала Айта и в упор посмотрела на Ивана Ивановича.

— Ну, тогда вы пойдете!

Я промолчала. Сюда, в центральный гастроном, было бы близко ходить из дому... Но ведь кому-то надо идти в магазин на Нагорной. Почему же не мне, а кому-то другому?

— Ну, красавицы, приступайте к работе, — сказал Иван Иванович. — Как поется в песне: «За работу веселей!» — И повернувшись ко мне: — А вы останьтесь...

— Не зам, а сплошная поэзия! — шепнула мне Таня, выходя из кабинета.

Иван Иванович подошел к телефону, набрал номер.

— Алло-о! Анна Андреевна? Позови, позови, пожа-

луйста. Анна Андреевна, это я. Направляю к вам практикантку. Так что прививайте навыки. Отобрал, отобрал. Э, ребенок, совсем еще дитяtko малое! Ну, ну, хорошо.

Иван Иванович положил трубку на рычаг и повернулся ко мне.

— Знаете, где этот магазин? Дорогу найдете? Там старшей продавщицей Анна Андреевна. Вы будете второй продавщицей. Анна Андреевна — старейшая работница торговли. Все, что она вам поручит, исполняйте беспрекословно. За товары, деньги ответственность несет она, поэтому слово ее для вас закон. Поняли?

Чего тут не понять.

Я пошла в магазин, что на Нагорной.

На улицах поблескивал ледок, снега было мало. Я немного завидовала девчонкам, которые остались в центральном магазине. Мне редко везет, а почему так получается — не знаю. Может, потому, что я некрасивая? Ростом не вышла. Лицо слишком смуглое. Да еще осенью постриглась коротко, а волосы растут очень медленно, вот и заплетаю в две косички... А что делать? Так и торчат рожки над ушами, как у маленькой. И потом, я худая ужасно. «И когда ты поправишься? Кожа да кости», — говорит мама. Айтa смеется, что на мне пальто, как на вешалке, висит.

Магазин на Нагорной — это небольшой домик, а вокруг забор. Внутри магазина тесно, очень тесно. Зайдут сюда человек двадцать, и повернуться негде будет.

Магазин, видно, только что открылся: пока стоят в очереди пять женщин. Продавщицы не видно. Я тоже стою, жду.

Как сказал Иван Иванович? «Старейшая работница». Наверно, постарше матери будет. Это я так думала.

И вдруг в дверях показалась худенькая, стройная, молодая женщина. Лицо продолговатое, светлое, а брови и глаза темные, и губы так красиво накрашены... Совсем молодая!

А как она за дело принялась — это просто вихрь какой-то. Покупатель не успеет еще договорить, что и сколько ему надо, а все уже на весах. И костяшки на счетах так и прыгают, так и прыгают! А то и без костяшек, в уме все сосчитать успеваешь! Вот это да! Скоро в магазине никого, кроме меня, не осталось. Анна Андреевна посмотрела на меня вопросительно.

— Я из школы...

— А-а, практиканточка, значит! Ой, что же ты молчала до сих пор! Проходи, проходи, чего боишься? Меня, что ли? — Она покачала головой, улыбнулась. — Неужели я такая страшная?

Мне как-то полегчало от ее улыбки.

— Нет, что вы... Вы такая... красивая.

— Ты тоже миленькая, девочка! — Она легко обняла меня, поцеловала в щеку, увела в заднюю комнату. — Ну, хватит, похвалили друг друга, теперь давай познакомимся. Анна Андреевна. Можешь тетей Аней звать. А если просто Аней — еще лучше. Ну, а как тебя?

— Туяра. Туяра Уйгурова.

— Товарищ продавец! Продавец! — послышался из зала хриплый голос.

— Ну, раздевайся. Вешалка вон там. Я сейчас вернусь.

— Продавец!

— Ну вот! — Анна Андреевна нахмурилась. — Иду, иду!

Я повесила свое старое, с обтерханной подкладкой пальто (с седьмого класса пошу) рядом с новой беличь-

ей шубой Анны Андреевны. Присела на табуретку. На столе вперемешку с какими-то банками, квитанциями — конфеты, печенье, начатая банка консервов, скорлупа от яиц на скомканной газете. Комната довольно большая, но вся заставлена: ящик на ящичке, куль на куле — не пройти, не протиснуться. Да и воздух здесь сырой какой-то... Глянула себе под ноги: пол, наверно, здесь и не моют. Около стола большая бочка с рыбой. Неужели придется все двадцать дней здесь проторчать?

— Э-э, милая, ты что это головушку-то повесила? О чем задумалась?

В дверях стояла Анна Андреевна.

— Не знаю... — пролепетала я.

— А я знаю, — весело сказала она и постучала об пол носком высокого мехового сапожка. — Ты думаешь: ах, в какое ужасное место попала! Грязища, то да се. Верно?

Как в воду глядела Анна Андреевна.

— Ну ладно, ладно, не смущайся. И правда, грязно. Уборщицы в штате нет. Раз в неделю придет из центрального гастронома, подметет малость, и все. А мне самой некогда. А потом, знаешь, я ленюсь. Ты чего все молчишь? Что так на меня смотришь?

— Иван Иванович про вас говорил: «Старейший торговый работник».

— Ха-ха, а может, я и вправду «старейший». Скоро уж десять лет за прилавком.

— В этом магазине, да?

— Да нет, здесь я два месяца. В каких только магазинах не работала!.. Пожалуй, легче пересчитать, где еще не торговала.

Анна Андреевна подошла к двери, приоткрыла — не пришел ли кто,

— Минуточку! — крикнула она. — Сейчас приду. Туяра, а что за практика такая, что делать собираешься?

— А что поручите.

— Молодец! Я вижу, ты девушка скромная. Это хорошо. Знаешь, я зазнаек не люблю. Вот мое первое поручение, — Анна Андреевна поставила передо мной глубокую тарелку, полную шоколадных конфет. — Угощайся!

Такие конфеты мама мне только по праздникам покупает. Я взяла из тарелки кончиками пальцев одну конфету, а Анна Андреевна запустила в тарелку руки и ссыпала мне в карманы две горсти.

— Ну, здесь сидеть будешь или пойдешь помотришь, как торговать надо?

— Анна Андреевна, а если я комнату приберу? Я очень вас прошу, разрешите.

— Да? Ну ладно, если ты так хочешь... Да ведь тяжело — ящики таскать надо, кули эти.

— Я помаленьку.

— Ну хорошо, хорошо. Урву времечко — подсоблю. Первым делом я закрыла крышкой бочку с рыбой. А сверху еще клеенку положила.

Ну, а потом — раз-два, взяли! Сама удивляюсь, как это я все смогла. Ящики с консервами, картонные коробки с печеньем «Мария», коробки с концентратами — кисель клюквенный, каша гречневая, крем заварной, сухое молоко, простокваша, — венгерский суп-гуляш в пакетах, бутылки с подсолнечным маслом, корзины с луком-репкой, с лимонами, большие стеклянные банки с маринованными огурцами — все это поближе к стенам переставила. Порядка немного больше стало. Теперь хоть сахар рядом с папирозами и махоркой не лежит. Середину комнаты освободила и за полы принялась. Три раза воду

меняла. Пол вымыла — теперь надо окно протереть: стекла от грязи серые, ржавые какие-то.

Уже и день кончался. Вечерело. А как окно очистила, светлей в комнате стало. Анна Андреевна вошла, ойкнула.

— Как хорошо! Спасибо, спасибо тебе, девочка, — и обняла меня, поцеловала.

*5 апреля.*

На дворе настоящая весна. Небо голубое, и снег какой-то голубой, сосульки светятся.

Сегодня мы с Анной Андреевной просто как подруги встретились. Правда, я ее на «вы» называю, а она меня на «ты».

— Может, хватит тебе? Вчера намучилась, отдохни... Хочешь, в кино сходи, — сказала Анна Андреевна, улыбаясь.

— Как же так? Я на работе — на практике. Теперь в торговом зале надо прибраться.

— Вот работающую девочку бог мне послал! А может, все-таки отдохнешь сегодня?

— Да я только пыль пооботру, полы вымою.

Перед обедом, когда приехала машина и Анна Андреевна принимала товар во дворе, в магазин вошел Айал. Я как раз выжимала тряпку в ведро.

— Ты что это делаешь? — удивился он.

— Не видишь, что ли? Полы мою.

— Так вот какая у тебя «практика». Тебя что, дома этому не научили?

Я смутилась. А тут еще вбежала Анна Андреевна.

— Молодой человек, вам чего?

Айал посмотрел на меня, потом на витрину, пробормотал что-то и показал рукой на пакетик с горчицей:

- Вот это...
- Горчицы, да? Сколько?
- Ну, на эти... деньги...
- На все?
- Да..

Анна Андреевна выложила перед Айалом пакетов десять горчицы.

— Не заворачиваем, бумаги нет.

— Ничего, ничего... Я так.

Айал стал рассовывать пакетики по карманам.

— Вы что, молодой человек, в столовой работаете?— вдруг спросила Анна Андреевна.

Я не выдержала, засмеялась.

Айал повернулся и вышел из магазина. Даже не взглянул на меня. Рассердился. А я что, виновата?

Когда собралась домой, Анна Андреевна завернула мне конфет и печенья. Попробовала отказаться, да где там, и слышать не хочет. Руками замахала:

— Бери, а то обижусь!

Мы с Айалом договорились было сегодня вечером сходить в кино, но он не пришел.

Неужели обиделся?

*6 апреля.*

— Туярочка, золотце мое, сегодня у нас воскресенье, день горячий, — так встретила меня утром Анна Андреевна, — придется тебе халат надеть.

Халат был длинный, пришлось подшить подол, закатать рукава — ничего, обошлось.

Я помогаю Анне Андреевне: отпускаю консервы, хлеб, штучные товары, это у меня неплохо получается, а вот на весах работать никак не приноровлюсь. Долго, очень долго взвешиваю сахар, крупу, масло.

— Быстрее, побыстрее! Ну что вы, девушка!

Анна Андреевна рядом. Она сегодня только мясо продает. Очередь большая, все хотят кусок получше. Но Анна Андреевна не очень-то дает выбирать. Бросает на весы — и все; хотите — берите, хотите — нет.

Я сначала подумала: что это она, разве так можно? Но после нашла для нее оправдание: многих ли обслужишь, если каждый раз для одного покупателя все мясо перебирать? И все же очень плохо, что один, другой, третий отходят от прилавка недовольными.

Особенно жалко было одну старушку. Мяса попросила немного — с полкилограмма. Анна Андреевна даже не посмотрела на нее, спешила очень, бросила на весы одни кости.

— Коштявый шлишком кушок, — прошамкала старушка. — Я внуку на пирожки хотела.

— Знаете, мамаша, мясо без костей не бывает.

В это время в задней комнате зазвонил телефон. Анна Андреевна кинулась туда, а старушка дрожащими, корявыми пальцами стала развязывать тряпицу с монетами. Я подошла к весам, сняла это мясо и положила кусок помягче.

— Бабушка, такой подойдет?

— Шпашибо, дочка...

— Ну как, берете? — бросила на ходу Анна Андреевна, возвращаясь к прилавку.

— Беру, беру.

Анна Андреевна защелкала счетами. Затем потянулась к мясу и, на мгновение остановившись, посмотрела в мою сторону, но ничего не сказала.

Народу все прибывало. Очередь у меня росла. И тут, слава богу, у Анны Андреевны мясо кончилось. Теперь моя очередь и к ней подойдет.

Анна Андреевна словно автомат. Стук, щелк — ни одного лишнего движения. И все — сахар ли, крупа ли — черпнет совком, а кулек у нее готов, раз на весы — и пожалуйста, подходи следующий. Аж зависть берет. Я-то с каждым покупателем мучаюсь. Десять раз отсыплю, досыплю. Стрелка на весах скачет как сумасшедшая. Кулек с одного раза никак не свернешь, развертывается.

В обед Анна Андреевна показала мне, как быстро скручивать кульки, сколько брать на совок, чтоб было полкилограмма и килограмм. Я пробовала, как она, да все равно точно не получается.

— Ты вешаешь, будто золото или лекарство. Какой в этом толк? А нужно вот так... — С этими словами она насыпала в кулек сахарного песку примерно с килограмм — и сразу на весы. Стрелка мгновенно перескочила тысячу, Анна Андреевна выхватила кулек из тарелки весов. — Вот и все. На, попробуй.

Я попробовала: раз — совок, два — кулек, три — на весы.

Стрелка рванулась за тысячу.

— Снимай, чего ждешь?

А стрелка весов в это время поползла обратно, дошла до девятисот, потом опять прыгнула за тысячу и, наконец, остановилась, дрожа, на 975.

— Анна Андреевна, здесь двадцать пять граммов не хватает!

— Ну, конечно, деточка, может, и так иногда бывает, да ведь зато быстро. Одному перевесишь, другому недовесишь, это уж такое дело. Ну ладно, пошли обедать. А то скоро опять косяком пойдут.

После обеда постаралась я быстрее работать. Тоже так: раз, раз, одному перевесишь, другому недовесишь. Не дожидалась я, когда стрелка остановится.

Очередь быстрее пошла, но показалось мне, что люди как-то не так на меня смотрят, изучают, что ли...

К концу работы я очень устала. К тому же «конец работы» оказался понятием растяжимым: закрыли магазин, и еще целый час деньги считали. Потом приехал инкассатор на машине. Сдали ему всю дневную выручку.

— Ну, сеанс окончен! Устала? — спросила Анна Андреевна. — Ничего. Придешь домой, спи своей мамочке: «На заре ты меня не буди!..» Завтра понедельник, выходной день.

Когда я вернулась домой, мама шила мне платье к выпускному вечеру. Когда-то он еще будет!

Только умылась, пришел Айал.

— Здравствуйте, здравствуйте... Туяра, пойдем в кино! Билеты есть.

— Иди, иди, доченька, — сказала мама. — Чаю-то успеете выпить?

Айал достал билеты, посмотрел: еще целый час.

Мама пошла на кухню.

— Туяра, я не виноват.

— А кто виноват?

— Это все она, продавщица твоя...

— А что она?

— Еще спрашивает... Должен был купить билеты в кино, а деньги все ей отдал.

— За горчицу?

— Ну да, за горчицу...

— А зачем покупал столько?

Айал отвернулся.

— Ну, а куда ты дел эту горчицу?

— В столовую отнес. Теперь этого добра на неделю хватит.

— Ты что, повару отнес?

— Да нет, положил на стол возле раздевалки.

— Ну, ты человек находчивый. А что купишь в следующий раз?

— Эй, дети, вы не опоздаете? — крикнула мама из кухни.

Мы смотрели кинокартину «А если это любовь»...

Двое там — парень и девушка — такие молодые, как мы. Плохо их любовь кончилась. Я даже заплакала, обидно стало. Все выходили из зала молча. Смутно было на душе. Айал тоже молчал, не смотрел на меня. Дома какие-то черные, и луна на небе маленькая, холодная. Под ногами лед хрустел.

— Трус он, этот парень, — сказал вдруг Айал и руку мне протянул... Так мы шли — рука в руке — до самого моего дома.

*7 апреля.*

Сегодня, наверно, в последний раз в этом году на лыжах ходили — по Вилюйскому тракту. Я, Маша и Сардана.

Дошли до горы Чучур-Муран, обогнули ее и по пологому склону поднялись к вершине. Далеко оттуда видно. Вся широкая долина Лены в глубоком мареве.

В старину место между Кангаласскими и Священными горами называлось Туймаада. Сейчас эта Туймаада видна как на ладони. Здесь, на вершине, такой сильный ветер, что кажется: раскинь руки — и полетишь далеко-далеко.

По дороге домой девчонки рассказывали, как им работает в магазине. Все об Айте вспоминали.

Интересно, над Айтой всегда подтрунивают, всерьез не принимают, а говорят о ней много. Она красивая,

мальчишки на нее заглядываются. А вот, например, на Нюргуяну они почему-то не смотрят. А какая она добрая, Нюргуяна, веселая.

Но если это так, то, что есть красота  
И почему ее обожествляют люди:  
Сосуд она, в котором пустота,  
Или огонь, мерцающий в сосуде?

*8 апреля.*

— Сегодня народу будет мало. Вставай к прилавку вместо меня. Я тебе доверяю.

— Спасибо.

— А я пока накладные проверю, посмотрю, как концы с концами сходятся... Скоро ревизия, говорят, нагрянет. А ты — как в тот раз показывала, так и взвешивай. Помни: их много, а ты одна. Не в аптеке. Рубль сорок и рубль сорок — два восемьдесят две...

— Ну, что вы, зачем вы так шутите, Анна Андреевна?..

Вот с какими советами я начала свой рабочий день.

Только мы открыли магазин, подъехала машина с хлебом. Пока выгружали и принимали, скопилось довольно много народу.

Наконец я подбежала к прилавку: шутка ли, все эти люди ждут меня...

— Две булки по восемнадцать, — сказала пожилая женщина, первая в очереди. — И полкило масла.

— Вот, пожалуйста, булки.

Я так спешила взвесить ей масло, что уронила довесок с ножа.

— Не спеши так, доченька, — тихо сказала женщина, — за день умаешься...

Легко сказать: «не спеши» — вот очередь-то какая!

Я работала так, как учила Анна Андреевна.

Раз — совок, два — кулек, три — на весы.

— Эй, девушка, девушка,— сказал вдруг высокий старик в кухлянке,— себе в убыток торгуешь. Лучше подожди, не снимай с весов, пока стрелка не остановится.

Я подождала. 970 вместо килограмма. Я густо покраснела.

— Ничего, ничего,— сказал мне старик и обратился к очереди: — Она же это не нарочно. Быстрее отпустить нас хочет. Все же, девочка, работать внимательнее надо.

Очередь пошла у меня медленно, однако покупатели как будто довольны, переговариваются, шутят. Сами выбирают мясо, и с костью берут! Наваристый, мол, бульон будет.

А если кто одной мякоти просит, из очереди замечания делают:

— Нельзя же так, надо и о других подумать.

Один мужчина в большой меховой шапке попросил взвесить два килограмма свежемороженой ряпушки. Рыба, которую я положила на весы, ему не понравилась.

— Что это она у вас такая разная? Подберите, пожалуйста, ровную: или чтоб все большие были, или маленькие, но только чтоб одна к одной.

— Ишь, придумал,— послышалось из очереди,— что же, ей сантиметром их мерить?

— Он из мороженой рыбы породу новую выводить собрался.

Все засмеялись. А я все же выбрала ему, что он хотел.

— Мне сыру, только, пожалуйста, не острого. И, пожалуйста, порежьте, если можно.

Я нарезала ярославского. Бледный такой, небритый

человек руку протянул за сыром, пальцы тонкие, губы бледные.

Вдруг слышу шепот:

— Здравствуй, внучка.

А, это та самая старушка, которая позавчера мясо просила на пирожки.

— Ну, как, бабушка, хорошие пирожки получились?

— Шпашибо тебе, шпашибо, внучка, машлица мне... шамого хорошего... на два рубля.

Взвесила я ей «самого хорошего» масла.

И еще покупатели что-то просили, и все я старалась сделать, как им нравится. И все говорили «спасибо, спасибо», а я улыбалась в ответ. Я еще никогда так много не улыбалась.

*9 апреля.*

Мама спрашивает: устаешь? Отвечаю: нет. А вообще трудно целый день на ногах стоять. И как только люди месяцами, годами так работают? Они, наверно, постепенно привыкают.

Нагорная улица, где наш магазин,— это рабочий район.

Много людей подходят за день ко мне. Я вижу их лица, их руки. Вижу шершавые, красные от стирки и мытья полов руки женщин и детские ручонки в чернильных пятнышках. В конце рабочего дня ко мне протягиваются сильные, жесткие руки мужчин...

Сижу дома, пишу дневник. На дворе темно. А мои покупатели сейчас садятся, наверное, ужинать. Кладут на стол, разворачивают то, что я им завернула своими руками — 250 краковской, 200 масла, 200 сыра, две булки — пожалуйста, поподжаристой...

Сегодня такая история случилась. Зашел снова покупатель, тот, над которым смеялись, что он из мерзлой рыбы породу новую выводит. Так вот, подошел он к прилавку, я думала, купить папиросы без очереди хочет.

— Туяра (откуда он мое имя узнал?), принесите, пожалуйста, стакан воды.

Я очень удивилась, кто-то в очереди пробурчал: «Здесь водой не торгуют», но я все-таки принесла, поставила на прилавок. Тогда этот странный человек открыл чемоданчик и достал оттуда... розу, красную розу.

— Пусть эта роза постоит здесь,— сказал он и опустил цветок в стакан с водой.

Когда он ушел, очередь зашумела:

— Такой старый, а поди ж ты, к такой молоденькой...

— Ему уж на пенсию скоро.

— А девушка-то не отказалась.

— Э-э, молодежь нынче...

Красивую розу подарил. Разве это плохо? Зачем они такое говорят? Я опустила голову, чуть не плачу. Обидно... И вдруг слышу голос:

— Что же вы так ее обижаете? Девушка старается, все делает, чтобы нам было лучше. И вот нашелся один человек благодарный — цветок принес, так на тебе — такое мелют.

— Что правда, то правда, девушка хорошо работает!

— Уважительная...

— Девочка еще совсем...

У меня от сердца отлегло. А тут стали хвалить наш магазин. Дескать, у нас и продукты свежие в последнее время, и вообще хорошо...

К концу дня появилась Анна Андреевна, встала ко вторым весам и пригласила:

— Переходите ко мне.

В очереди было человек десять. Двое крайних пошли к Анне Андреевне. Остальные не сдвинулись с места. Анна Андреевна быстро обслужила этих двоих, постояла немного, как-то странно посмотрела на меня и ушла в кладовую. Мне стало не по себе.

*10 апреля.*

Даже удивительно, неделю назад я простой кулек свернуть не могла. Теперь это как-то само получается. Просят килограмм крупы, берешь на совок, потом в кулек — и на весы. И вдруг, это просто чудо, тютелька в тютельку! Рука все лучше вес чувствует.

У меня там два ножа. Один я не люблю, а другой, с выбоинкой на лезвии, как раз по руке. Он какой-то быстрый, этот нож: сыр и колбасу режет — одно удовольствие. А сыр я научилась строгать тонко-тонко...

Это хорошо — передавать людям разные вкусные вещи.

А больше всего мне нравятся первые покупатели. Это люди, которые рано встают, люди, которые спешат. Без них магазин тихий, неживой, но вот входят они — и лица и голоса их, все какое-то утреннее, новое.

Сегодня день начался так: зашла в кладовую, а там заместитель директора Иван Иванович. Сидят с Анной Андреевной, о чем-то тихо разговаривают.

— А-а, красавица! — крикнул Иван Иванович тонким голосом и подкатился ко мне, как колобок. — Молодец! Анна Андреевна хвалит. Хорошо, говорит, работаешь. Так и продолжай. Напишем тебе самую хорошую характе-

ристику.— Холодной, влажной ладонью он похлопал меня по щеке и пропел: — «Целовал бы я губки алые...»

— Ну, хватит, не надо... Не смущай девочку...— сказала Анна Андреевна.

— Хэ, современную молодежь чем смутишь?

— Туяра, иди открывай ставни. Уже пора.

Я прошла в торговый зал, постояла немного за прилавком, вытерла тряпочкой свои «инструменты» — совок, нож... Потом открыла ставни. Время уже подходило к десяти, и я направилась к своему начальству спросить, открывать ли мне магазин, но у самых дверей остановилась, услышав, как Иван Иванович назвал мое имя.

— Все-таки эта девушка — Туярой, кажется, зовут,— как она?

— Э, совсем еще ребенок. Ну, что она... Нашел кого бояться.

Что такое, зачем меня бояться?

— Не очень-то надейся. Как бы из-под ног чертик не выскочил.

Меня будто по щеке ударили. Значит, они мне не верят, не доверяют? Почему? Вот позор-то...

— Туяра! Впускай людей! — крикнула Анна Андреевна.

Сегодня продукты принимал сам Иван Иванович, из кладовой доносился до меня его голос.

Вечером, когда собиралась домой, Анна Андреевна наложила мне чего-то в сумку:

— Маме гостинец от меня.

— Нет, Анна Андреевна, не надо, ну как можно столько?

— Не обижай меня, золотая моя, ведь это твоей маме.

На углу меня поджидал Айал.

— Давай сумку, понесу...

Я отдала.

— Ого, тяжеловато! А что в ней?

— Я и сама не знаю.

— Как это ты не знаешь, что в твоей сумке?

— Не знаю — и все. А тебе-то что за дело?

Айал промолчал.

— Айал, я и вправду не знаю: это Анна Андреевна положила. Продукты.

— Она знает, сколько и чего тебе надо? А ты не знаешь?

— Не знаю...

— А как ты заплатила, если не знаешь?

— Я не платила.

— Что?

— Сказала ведь тебе: это от Анны Андреевны.

— Что от Анны Андреевны?

— «Матери гостинец»... Айал, перестань! Что ты ко мне пристал?

Айал шмыгнул носом и вдруг выпалил:

— А ты знаешь, что эта твоя Анна Андреевна дала тебе краденое? Краденое!

— Айал!!

— В магазине можно только купить. А брать без денег — это кража...

— Значит, то, что в сумке, краденое? Да?!

— Я говорю вообще.

— «Вообще»! В это «вообще» я тоже вхожу, да? Спасибо!

Я выхватила у него сумку, побежала. Айал догнал, схватил меня за руку.

— Туяра, послушай...

— Не хочу слушать.

Я отбросила его руку, побежала дальше. Айал уже не стал меня догонять.

А может, он прав? Почему Анна Андреевна все это дает мне бесплатно? Я остановилась. И сама она тоже уносит в сумке сколько влезет. Платит она за это? Или нет? Или нет??? Сумка сразу отяжелела, словно в ней камни лежали.

Я вспомнила, как давно еще, я в восьмом классе была, знакомая моей матери честила одну продавщицу, которая выносила продукты с «черного» хода. Так вот как это бывает! Что теперь делать? Посоветоваться бы с Айалом. Я кинулась обратно, а его и след простыл...

Нет, я не должна показывать эту сумку маме. Придется спрятать в сених, а утром снесу обратно в магазин. Сейчас так и лежит она там, в сених, за ящиком. Что Айал обо мне думает? Неужели решил, что я...

Обещала девочкам пойти с ними на каток, да куда с таким настроением. Что же я скажу Анне Андреевне завтра? А если она заплатила свои деньги, от чистого сердца дала? Детей у нее нет... А я ведь ей в работе помогаю. Это будет такое оскорбление... Хотя выход, кажется, есть...

*11 апреля.*

Как будто весна уже началась, а утром на термометре 7 градусов мороза. Лужи льдом затянулись, и улицы стали похожи на блестящую спину водяного жука. Около самого магазина я поскользнулась, грохнулась... Синяк,

наверно, будет. Ничего, как мама говорит, до свадьбы заживет.

С продуктами из сумки я так распорядилась: положила туда, откуда их взяла Анна Андреевна, все рассовала...

Сегодня Анна Андреевна решила торговать сама. Я ей только помогала.

Днем пришел пожилой мясник разделывать туши. К вечеру, собираясь домой, он протянул мне кусок мяса.

— Дочка, отнеси заведующей, попроси взвесить. Пусть скажет, сколько мне заплатить.

Анна Андреевна взвесила:

— Шесть рублей пятнадцать копеек.

Я побежала к старику, сказала. Он очень удивился:

— Больше шести рублей, выходит? Ведь это мясо по рубль семьдесят копеек... килограмм. Второй сорт. В куске не больше трех кило. Если и больше, то на какие-то граммы... Поди, дочка, скажи заведующей: пусть хорошенько взвесит.

Только я об этом заикнулась, Анна Андреевна выхватила мясо и пошла к старику. Скоро вернулась, бросила мне:

— Как уйдет, запри дверь.

Я пошла в кладовую. Мясник, ворча, одевал пальто.

— Думает, я ничего не знаю: подсчитала мясо по цене первого сорта — по два рубля десять копеек. Говорит, «ошиблась». Кто ее знает, по ошибке или...

Вот оно как. Ведь мы весь день продавали мясо по два рубля десять копеек. Значит, у нас мясо первого сорта. А почему же тогда Анна Андреевна говорит мяснику, что «ошиблась».

Вечером к нам пришел Айал. Мама посидела немного и опять пошла на кухню.

Я думала, Айялу понравится, как я сделала,— что продукты из сумки по своим местам разложила.

А он: нет, говорит, надо было ей самой все и отдать.

А когда Айял о мясе узнал, так даже побледнел.

— В милицию ее надо!

А я ему в ответ:

— Тот старый мясник человек опытный, и то не мог решить, ошибается она или просто нарочно. А тебе сразу все ясно.

Айял задумался. И я сказала:

— За такие плохие мысли хоть прощения у Анны Андреевны проси.

— Слушай,— поднялся Айял с места,— может, ты завтра как-нибудь в этом разберешься? Тогда вечером по телефону мне и позвонишь. Я дома буду. А теперь хватит. Пойдем гулять.

Мы вышли на улицу. Солнце уже на закате. Снег чуть ли не красный. Люди идут не спеша, посматривают друг на друга, молчат, как мы с Айялом.

С седьмого класса за одной партой сидим. Сначала он как мог меня доводил: то за косицу дернет, то вдруг посреди урока как ткнет пальцем в бок, поневоле взвизнешь. Правда, и я в долгу не оставалась. А с нынешней осени как-то все по-другому стало... Айял даже дотронуться до меня боится.

Воздух чистый, снег синий. А там, где зашло солнце, светятся два широких крыла — будто улетает в ночь огромная малиновая птица.

*12 апреля.*

По утрам в задней комнате темновато. Анна Андреевна меня даже напугала: вдруг подскочила, обняла, расцеловала.

— Туялочка! Только один день не видела, а уж соскучилась!

Тут только я разглядела Ивана Ивановича, который сидел на стуле.

— Ай, красавицы, будто родные сестры.— Иван Иванович встал, протянул руку, чтобы опять похлопать меня по щеке, но я отступила.

— Не распускай руки,— сказала Анна Андреевна.— Туяра, не обижайся. Это он так шутит, чудак.

Она усадила меня на стул.

— Туяра, ты после практики согласилась бы помогать мне? — Анна Андреевна повернулась к Ивану Ивановичу.— Если бы Туяра согласилась, я бы без своей напарницы вполне обошлась.

— Вряд ли так получится... Директор уже подписал приказ. Отпуск у нее кончается двадцатого.

— И почему она должна именно здесь работать? Ты же заместитель директора. Неужели не можешь перевести ее в другой магазин?

— Она специально просила директора никуда ее не переводить. Ближко, мол, ходить из дома. И он согласился. Я ей потом другое место предлагал, она и слушать не захотела.

— Что же делать?

— Что?..— Иван Иванович развел руками.

— Туяра, может, ты и вправду останешься у нас? А?

Я, наверно, покраснела. Работать мне понравилось... А когда же буду учиться? Нет, все вместе у меня не получится.

— Ты еще подумай хорошенько. Я бы тебе короткий рабочий день устроила. А? Погоди-ка, она двадцатого выходит? Сегодня какое? Двенадцатое?

— Сегодня к вам народ поднавалит.— Иван Иванович надел шапку.— Мясо вам хорошее привез.— Он улыбнулся.— Постарайтесь распродать. Поняла, Анна Андреевна? Э-э, дай-ка, о чем говорили.

Анна Андреевна достала из-под стола несколько длинных свертков. Бутылки, что ли?

День у нас выдался действительно хлопотливый, Иван Иванович не ошибся.

До полудня работали без передышки, а покупателей все прибывало. Как будто мясо только в наш магазин привезли! Ближе к обеду Анна Андреевна сказала:

— Туяра, ты здесь будешь? Я схожу в город по делам.

— Хорошо.

На столе в кладовой лежала папка с документами. Я долго на нее смотрела. Что я в этом понимаю? Здесь бухгалтером надо быть.

Открыла папку. Сначала старые бумаги, еще за прошлый год, они накладными называются. Пойдем дальше... Ага, вот апрель — девятое, десятое... Где же мясо? Тут масло — три сорок кило. Его пока не отпускаем. Нашла... Мясо второго сорта! Рубль семьдесят за килограмм! А первого сорта по два десять нету! Я еще раз проверила: нет первого сорта! В эти дни не завозили. Мясник не ошибся. Все мясо... Просто ужас! Анна Андреевна с каждого килограмма берет сорок копеек лишних. И я вместе с ней!

Бежать к директору гастронома, все рассказать! Накинув пальто, рванула ручку двери — не поддается. Заперла она меня, что ли? Нарочно?

Анна Андреевна... Нет, не могу поверить... Может, она цифры прочла не так, может, о чем-то другом думала?

Заскок, наверно... Надо быстрее ошибку исправить. Эх, дура я, что мне стоило раньше эту папку посмотреть! Покупателям деньги надо вернуть. Все уже, наверно, забыли, кто сколько мяса брал. Как разбираться будем?

Послышался скрип открывающейся двери. Вошла покрасневшая Анна Андреевна.

— Ой, Туяра, извини меня, пожалуйста, я тебя, оказывается, закрыла. Совсем голова кругом идет.

— Анна Андреевна, знаете что, мы ведь ошиблись в стоимости мяса...

— Что?! Ты о чем? — она вскинула на меня глаза. — Какое мясо?

— А то мясо, что привезли в субботу. Килограмм стоит рубль семьдесят копеек, а мы ведь продавали по два рубля десять копеек.

— Кто это тебе сказал?

— Я... сама...

— Откуда ты узнала, что по рубль семьдесят?

— Я сама видела... в папке.

— Смотришь на всякие другие цифры... Не знаешь, что болтаешь! Больше так не делай. Поняла?

Она схватила папку, сунула ее в ящик стола и замкнула его. Я прямо обмерла: передо мной стояла не Анна Андреевна — добрая, красивая, с ласковой улыбкой, приветливым взглядом, а совсем другая женщина — лицо жесткое, с острыми углами, глаза злые, режут.

— Чего сидишь? Открывай магазин!

Да, это была другая Анна Андреевна, совсем другой человек.

И вот этот другой человек встал к прилавку.

Бедные покупатели ничего не подозревают, я только

слышу, как втихомолку ругают они «Заготскот», который-де «сначала заморит скотину, а потом забивает». И мне хочется закричать:

— Не «Заготскот» виноват. Вот она виновата — Анна Андреевна! Обманывает вас!

Хочу закричать и не кричу. Кто мне поверит? Надо же доказать! Если покупатели не поверят мне, что тогда? Но и молчать не могу! И я даже потихоньку скулить начала, как от зубной боли.

А потом — опять чудеса — подумать только! Как закрыли магазин, Анна Андреевна переменилась, стала прежней приветливой Анной Андреевной. словно бы ничего не было!

— Туялочка, чего это ты надулась? Устала, да? Конечно, как тут не устанешь, даже я устала. Ну, брось, не дуйся. Ну, улыбнись же! — Она обняла меня за талию, покружила, пощекотала.

Вдруг остановилась, отпустила меня, схватила рывком свою сумку, лежащую на столе.

— Туяра, закрой-ка глаза! Я тебе что-то покажу. Вот, погляди, — она вынула из сумки красную шерстяную кофту.

— Красивая?

— Да, хороша... — прошептала я.

— Бери, это тебе! — Анна Андреевна приложила кофту к моему плечу. — Она тебе идет! В центральном универмаге выбросили. Нарасхват берут, чуть не дерутся. Хорошо, у меня там знакомая. Две кофты вынесла через заднюю дверь: одну тебе, другую мне.

— Не надо, Анна Андреевна...

— Это почему же? Я ведь тебе дарю. От подарка отказываться нехорошо.

— Спасибо... Не надо...

— Это же подарок! Что ж, тебе и подарить ничего нельзя?

— Не надо... не надо...— Я не нашла, что сказать, пролепетала первое, что подвернулось: — Мама заругает.

— Такая большая, а говоришь: «Мама заругает». Ты знаешь, по правде говоря, я это тебе не задаром... Ведь ты работаешь, помогаешь мне. Вот за это и дарю.

— Нет, не надо...

— Ну ладно, так и быть. Положим вот сюда, в ящик стола. Пусть подождет тебя, полежит. Возьмешь, когда закончится твоя практика, хорошо? Приходи завтра, дочка, не опаздывай.

На полпути к телефону-автомату я оглянулась. Анна Андреевна шла за мной, хотя ее дом был в другом конце города. Следит, что ли? Я пошла быстрее, потом побежала. И переулками, переулками... Ну, ей меня не догнать! У меня по бегу второе место в школе! Подбежала к нашему дому — и в будку телефона-автомата. Набрала номер, стала рассказывать Айалу о папке с документами, потом о кофте и как Анна Андреевна за мной пошла.

— Ну, теперь уж в самом деле все ясно,— сказал Айал.— Нам надо завтра идти к директору магазина. Только я с утра не могу. На работу надо явиться. Давай днем...

— Что же мне делать? С утра на Нагорную идти? По два десятка мясо продавать? Ладно. Сама справлюсь. Ну тебя! — Я повесила трубку.

Может, маме сказать? Расстроится, расплачется, ночь спать не будет...

*13 апреля.*

Огненно-рыжая девушка-секретарша повела в мою сторону накрашенными глазами.

— Директор занят. Присядьте.

— Спасибо.

Долго сидела. Какие-то люди кивают секретарше, входят в кабинет, выходят. Наконец, она мне сказала:

— Пожалуйста, проходите.

Сидевший за столом человек с длинным худым лицом посмотрел на меня и снова уткнулся в бумаги.

— Что, на работу устраиваться? Сейчас у нас нет мест.

Я подошла к столу и стала, заикаясь, говорить о магазине, о стоимости мяса...

Директор поднял голову:

— Пойдите, кто вы?

— Я практикантка, работаю в магазине на Нагорной.

— Что вам надо? — спросил директор, будто и вовсе не слышал, что я ему говорила.

— Цену на мясо... путают...

— Это где?

— В магазине на Нагорной...

— Так. Одну минуточку.

Под рукой у директора было несколько кнопок. Он нажал на одну.

В кабинет вошла секретарша.

— Ивана Ивановича.

Мигом явился Иван Иванович.

— Иван Иванович, вот девушка говорит, на Нагорной допущена пересортица. Разберитесь И потом, почему на Нагорную только второй сорт завезли? Это ваше распоряжение?

— Ох, враки! Ей-богу, врут. На базах сами путают адреса, вот и отговариваются. Сегодня же наведем порядок. Ну, девушка, пожалуйста, ко мне.

Мы прошли в маленький кабинет Ивана Ивановича.

— Садись, пожалуйста, рассказывай.

Тут я выложила все как есть.

— Смотри-ка! Государство обманывает, оказывается. Нарушает правила советской торговли! — Иван Иванович замахал руками. — А я-то доверился ей. Ну, мы зададим ей жару. Спасибо, Туяра, за бдительность. Благодарю от имени руководства! — и протянул мне руку. — А пока посиди в приемной. Никуда не уходи. И никому пока не рассказывай. Я тебя позову. Я только позвоню в торговую инспекцию.

Спустя немного времени в приемную вошли мужчина с проседью и какая-то женщина в очках. Иван Иванович выкатился из своего кабинета и сказал им:

— Вот эта девочка заявила. Практикантка. — Он хлопал меня по плечу: — Молодчина! Сейчас поедем! На месте преступления милашку поймаем. Никакой пощады жуликам!

— Она знает, что вы пришли сюда? — спросил меня мужчина с проседью и представился: — Я работник торговой инспекции Бучугасов.

— А вот — представитель месткома, — Иван Иванович пожал руку женщине.

— Нет, она не знает, — ответила я.

Вчетвером мы поехали на Нагорную. Иван Иванович сидел рядом с шофером.

В магазине было только два покупателя. Когда они ушли, Иван Иванович заложил двери на засов.

— Анна Андреевна, поступил сигнал, что в вашем

магазине мясо продается по завышенной цене. Мы приехали проверить,— он оглянулся на своих спутников.— Начнем.

— Пожалуйста, пожалуйста.— Анна Андреевна спокойно открыла прилавок, потом, будто только сейчас заметив меня, всплеснула руками, заулыбалась: — Туяра, деточка, ты чего это опоздала? Обиделась, что я вчера тебя поругала? Не надо, дорогая, сердиться. На работе всякое бывает.

— А за что вы ее ругали? — справился Иван Иванович.

— Э, пустяковое дело,— Анна Андреевна поморщилась.— Ошиблась она, с одного покупателя взяла лишние деньги. Ну, я ее немного пожурила. Ничего страшного. Ведь даже опытные продавцы ошибаются, а ей и подавно... Ну, помиримся, деточка.

Я остолбенела.

— По работе замечания всякие могут быть,— заметил Иван Иванович.

— Ну, я в вашем распоряжении, пожалуйста,— Анна Андреевна, повернувшись к ревизорам, слегка поклонилась.

— Какое мясо продаете? — строго спросил Иван Иванович.

— Какое привозят, такое и продаем. По рубль семьдесят. Покупатели ругаются. Мясо тощее.— Анна Андреевна показала рукой на витрину: — Вон там самые лучшие куски выставила.

Проверяющие склонились над витриной. Анна Андреевна спокойно смотрела на меня и улыбалась.

А женщина из месткома подняла очки на лоб и оглядела меня с ног до головы.

Иван Иванович поманил согнутым указательным пальцем.

— Смотри-ка вот сюда,— сказал он мне, постукивая ногтем по стеклу витрины.— Ты говорила, что здесь, на этикетке написано: «Два рубля десять копеек». А это что? Читай.

Я взглянула: «1 р. 70 к.»!!! У меня в глазах потемнело.

— Покажите, пожалуйста, накладные, фактуры,— предложил Иван Иванович.

Анна Андреевна кинулась в заднюю комнату, принесла папку. Торговый инспектор стал перебирать бумаги.

— Все эти дни отпускаете мясо по рубль семьдесят? — спросил он.

— Что за странный вопрос задаете, товарищ? — обиделась Анна Андреевна.— Почему я должна продавать мясо по другой цене?

— Простите, я на всякий случай спросил.

— Анна Андреевна, зря вы обижаетесь, мы обязаны выяснить.— Иван Иванович заглянул под прилавок.— Сегодня сколько продали?

— Магазин-то только что открыли.

— Ну, что будем делать? — Иван Иванович обернулся к членам комиссии.

— Да ничего! Сигнал, оказывается, ложный,— скучно сказала женщина из месткома.

— Хорошо. Проверку нужно отметить.— Иван Иванович достал из кармана авторучку и тетрадь.— Надо актик составить.

Он написал акт и передал его женщине из месткома. Она подписалась. Торговый инспектор Бучугасов долго рассматривал акт. Потом поднял на меня глаза.

— По какой цене продавали мясо вчера?

— По два рубля десять копеек.

— Хорошо помните?

— Хорошо помню.

— Ну, а какая цена была на этикетке?

— Два десять.

— За что вас вчера ругала Анна Андреевна?

— Она меня не ругала.

— Это правда?

— Правда.

— М-да-а...— Бучугасов склонился над актом.— Иван Иванович, вот тут написано «оклеветала» — нужно вычеркнуть.

— Так ведь это факт, а факт, как говорится, вещь упрямая.

— Считать не доказанным.

— Хорошо, пусть будет так.

— И еще вот что. Надо вычеркнуть — «освободить от работы в магазине практикантку Уйгурову». Я думаю, нет оснований для такой меры.

— За первый проступок снимать с работы молоденькую девушку — это слишком, — поддержала его женщина из месткома.

— Ну, хорошо, вычеркните. Остальное, надеюсь, правильно? Подпишитесь.— Когда все подписались, Иван Иванович сунул акт в карман и опять поманил меня пальцем.— Прощаем тебе. Но в следующий раз не пожалеем. Такая молодая... Врать бы постыдилась!

Как я ни крепилась, а заплакала. Слезы так и полились.

— Минутку, товарищи! — Я услышала голос Анны Андреевны.— Что же это получается, клевета осталась безнаказанной? Так, что ли? Значит, вы мне все еще не

верите? Хватит. Я подаю заявление об уходе. Сейчас же принимайте магазин.

— Ну, что вы, что вы, Анна Андреевна,— мягко сказал Иван Иванович.— Кому же доверять, как не вам.

— Тогда уберите ее отсюда! Того и гляди завтра опять чего-нибудь выкинет!

— Действительно, обидно, когда на тебя наговаривают,— посочувствовала женщина из месткома.

— Вот именно. Так что я или она!

Торговый инспектор между тем подошел вплотную к Анне Андреевне.

— Мне кажется, я вас помню... Вы в позапрошлом году работали в магазине пригородного хозяйства?

Анна Андреевна будто съежилась.

— Работала... А что?

— Да так, просто вспомнилось,— махнул рукой инспектор.— М-да...

— Ладно, ладно, Анна Андреевна, все в порядке. Как работали, так и продолжайте,— заспешил Иван Иванович.— Все в порядке. А вам, девушка, до конца практики осталось несколько дней. Надеюсь, за это время ничем себя не запятнаете.

Только они ушли, Анна Андреевна, руки в боки, подступилась ко мне:

— Мерзавка, чего добилась? Дура! Не попутаеть меня, покуда второй раз не родишься! Так тебе и надо. «Два рубля десять копеек», да? Иди, стучи! Больше тебе веры нет. А если еще пожалуешься, я тебя в тюрьму упеку! Слышишь? — Она затопала ногами.— В тюрьму!

Вид у нее был ужасный.

— Уходи отсюда подобру-поздорову! Сейчас же ступай к Ивану Ивановичу, подавай заявление! Придумай причину! Напиши — больна!

Странное дело! Чем сильнее она кричала, тем спокойнее я становилась. Как она хочет избавиться от меня! Чтобы обманывать никто не мешал. Не пройдет номер. Меня не испугаешь.

— А я ничем не болею,— сказала я.

— Ну, тогда скажи им, что мать болеет, дура!

— И мама не болеет.

— Ну так сиди дома, не работай. Кончится срок практики, я тебе выдам справку, что прошла полностью!

— Мне не нужна фальшивая справка.

— Ну, тогда пеняй на себя. Считай, что я тебя предупредила.

До конца рабочего дня мы с ней и словом не обмолвились.

Она мне приказывает: «поднеси», «унеси», «налей», «взвесь» — и только. Я молча все делаю. И все же мясо она продает по настоящей стоимости. Кладет кусок на весы и чуть зубами не скрипит: сколько барыша упускает! Так ей и надо, я спуску не дам, до конца практики здесь останусь. Потом та продавщица из отпуска придет. То-то она ее боится. А пока буду стоять на посту. Клянусь!

Вечером мама одолела меня расспросами:

— Что это творится с тобой? Я уже давно вижу. Что-то скрываешь... Зачем от меня скрываешь? Пожалей меня. Расскажи. Все равно ведь не усну сегодня...

Мамочка! Этого-то я и боялась. Пришлось открыться...

Она слушала молча, а когда я кончила рассказывать, прошептала:

— То-то у меня сердце чуяло...

Кое-как я успокоила маму. Успокоила — не то слово, разве она успокоится?

Моя мама работает машинисткой. Сколько ночей она недосыпала, чтобы только купить мне красивое платье или хотя бы покормить чем-нибудь вкусным! Вкусное — мне, красивое — мне, все — мне. Она мечтает, чтобы я стала специалистом с высшим образованием, врачом например. Не тянет меня быть врачом.

Мамочка, милая мама, самый близкий, самый любимый мой человек! Я знаю, нелегкая у тебя жизнь. Больше всего на свете, наверно, даже больше, чем меня, ты любила папу. Он умер, когда мне было два года. Они дружили еще до Великой Отечественной войны. Папа в то время работал плотником в тресте «Якутстрой». Мама всю войну его ждала. Папа до самой победы был на фронте и еще после войны два с половиной года лечился в госпиталях. Возвратился инвалидом только в сорок седьмом... И сказал маме: «Мне долго не протянуть. Счастья со мной не наживешь Ты говорила, что после войны поженимся. Я возвращаю тебе твое слово». А мама ответила: «Ни одного из тех моих слов обратно не беру». И они поженились. Папа прожил с нами три года, умер от старых ран. Эти три года мама считает самыми счастливыми.

Мама, ты всегда думаешь о папе, что он вместе с нами, что вместе с нами он и радуется, и огорчается.

Я слышала, как одна женщина, лет пять назад, сказала о маме: «Сколько у нее поклонников, а замуж все не выходит, сидит караулит свою единственную дочь, стареет уже, дурочка».

Мама! Я хочу быть такой, как ты.

Честной, как ты.

Чистой во всем, как ты.

Верной, как ты.

Терпеливой, как ты.

*18 апреля.*

С самого утра Анна Андреевна норовит стать ко мне спиной, до того видеть меня не хочет. Где-то ближе к обеду она зашла в заднюю комнату, достала из ящика стола ту же кофту, развернула ее, повертела так-сяк. Опять приманивает, что ли? К черту твою кофту!

Пришла наш завуч Олимпиада Филипповна. Позвала меня на улицу — переговорить. Она уже прослышала о вчерашнем скандале, от Ивана Ивановича наверно. То и дело ойкает, вздыхает. Так что мне даже жалко ее стало.

— Туяра, значит, она угрожает? Будь осторожней. Может, перейдешь в другой магазин? Мне показалось, Иван Иванович согласится. Я бы еще поговорила.

— Нет, Олимпиада Филипповна, я здесь буду до конца практики.

— Будь осторожней, Туяра. О чести школы тоже не забывай.

И, опять ойкая и вздыхая, она пошла тихо так, степенно. А если бы ей не надо было заботиться о чести школы? Что бы она тогда посоветовала? Настроение у меня упало.

Сидела в задней комнате. Вдруг слышу: щелк! Это Анна Андреевна меня заперла. На обед. Сама пошла куда-то.

Потом, примерно часа за полтора до конца работы, когда я брала рыбу из бочки, она вдруг спросила:

— Кто взял деньги?

— Какие деньги?

— Я забыла замкнуть ящик прилавка... А там деньги оставались. Где они?

— Не знаю.

«Наверно, что-то путает. Деньги потеряться не могли», — мелькнуло у меня в голове.

Анна Андреевна бросилась к телефону.

— Деньги украли из ящика прилавка, — сказала она в трубку. — Прими меры... срочно! Приезжайте!

На этом разговор кончился. «Тот, который на другом конце провода, не спросил даже, кто и откуда звонит. Как он может приехать, не зная адреса?» — недоумеваю я.

— Ни с места! Сиди здесь! — приказала мне Анна Андреевна.

Я не стала возражать. Села на стул. Чувствовала я себя спокойно, никакого подвоха не подозревала. «Деньги не потерялись, это точно. Проверят и найдут, да еще пристыдят ее».

Там, в торговом зале, зашумели покупатели. Анна Андреевна вышла к ним и громко объявила:

— Подождите, сейчас приду.

Потом она уселась напротив меня.

— Ну, что ж ты, милашка, не бежишь «стучать» на того, кто деньги украл.

Лицо у нее было самое веселое. Мне стало не по себе.

Тем временем в торговом зале опять зашумели, и в кладовую влетел милиционер — маленький, худенький, шея как у петушка. За милиционером — Иван Иванович.

— Это сотрудник ОБХСС, младший лейтенант Курбатов, — сказал Иван Иванович. — Ну-с, выкладывайте, что случилось. — Вытирая с лица пот, он тяжело сел на бочку. — Ох, наказанье! Этого еще не хватало: среди бела дня деньги крадут в магазине!

Анна Андреевна, чуть не всхлипывая, стала рассказывать, как она забыла запереть ящик, как ушла и как потом пришла и обнаружила...

— Сама виновата, товарищ младший лейтенант, забыла замкнуть...

— А кто-нибудь был в магазине в обеденный перерыв? — спросил Курбатов.

— Вот она, — Анна Андреевна показала на меня пальцем.

— А кто она?

— Практикантка из школы. Скромная девочка...

— Гражданка, как ваша фамилия?

— Уйгурова... Туяра...

— Вы знаете, куда девались деньги?

— Нет...

— Видели, что ящик остался открытым?

— Нет...

— В обеденный перерыв, кроме вас, кто-нибудь заходил сюда?

— Нет...

— Вы сами в обед куда-нибудь выходили? Были на улице?

— Нет... Анна Андреевна заперла дверь снаружи.

— Товарищ лейтенант, поскольку двери были закрыты, никто не мог вынести деньги. Значит, они здесь, — вставил Иван Иванович.

— Это мы сейчас установим. В каком ящике были деньги? Покажите.

Он вошел в торговый зал с Анной Андреевной, и люди сразу загомонили, зашумели.

— Что они ищут?

— Говорят, деньги украли...

Иван Иванович встретил Курбатова у порога и что-то зашептал ему на ухо.

— Вы брали деньги? — Курбатов, нахмутив брови, шагнул ко мне. — Если брали, лучше сразу признайтесь и верните их — это будет самое лучшее. Все равно ведь найдем... Где ваши вещи?

— Пожалуйста, вот они, — Анна Андреевна сорвала с вешалки мое пальто.

— Так, сейчас посмотрим.

Курбатов запустил руку в карман и тут же обернулся ко мне:

— У вас были свои деньги?

— Были...

— Сколько?

— Сорок пять копеек...

И тут из карманов моего пальто Курбатов вытащил полную горсть денег! Я чуть в обморок не упала.

— А это что? Ведь здесь, кажется, больше, чем сорок копеек!

— Туяра!.. Что за выходки такие, доченька? — Анна Андреевна подскочила, обняла меня рукой за шею. — Ты мне как сестра была... Ужас какой!

— Это не мои деньги! — крикнула я.

— Благодарю за признание, — усмехнулся Курбатов. — Я и так догадался, что не твои.

Я оттолкнула Анну Андреевну:

— Это вы... вы... подложили! Нарочно! Чтобы отомстить!

— Смотри-ка! Товарищ лейтенант, вы слышали, что она говорит?! Это я ей, оказывается, подложила! Вот брякнула так брякнула!

— Успокойтесь, успокойтесь, — Курбатов достал из планшета бумагу, подсел к столу. — Составим акт.

Я поняла: что бы я сейчас ни говорила, мне не поверят. Эх, младший лейтенант, младший лейтенант... Как же ты мне в глаза потом смотреть будешь?

— Сколько было денег в ящике? — громко спросил Курбатов у Анны Андреевны.

— Кажется, больше двухсот.

— А здесь сто восемьдесят.

— Я точно не помню, не подсчитывала. Может, столько и было. Кто же мог подумать, что она украдет!

— Ну кое-что, наверно, эта девочка и на карманные расходы взяла. Надо бы ее обыскать... — Иван Иванович, ухмыляясь, дотронулся до моей груди своими растопыренными пальцами. — Ну-ка, губки алые.

— Уберите руки! — внезапно раздался крик.

Иван Иванович неловко повернулся и вдруг упал, споткнувшись о низкий ящик с рыбными консервами.

Дверь с треском распахнулась.

Айал! Милый Айал! Я думала, это только в книжках помощь всегда вовремя поспекает...

— Туяра, пойдём отсюда!

— Сволочь, щеку из-за него разбил! — Иван Иванович поднялся с пола. — Ну, погоди, разбойник! И ты свое получишь. Товарищ Курбатов, тот хулиган, видать, сообщник. За украденными деньгами явился, не иначе.

— Да-да-да, — опомнилась Анна Андреевна. — Он каждый день к ней ходит. Из одной шайки.

А Айал стоит и смотрит на меня.

— Туяра, не бойся...

— Как ваша фамилия? — грозно спросил у него Курбатов.

— Окоемов.

— Имя? Отчество?

— Айал... Семенович.

— Где работаете?

— Не работаю. Учусь. Вместе с Туярой.

— Зачем явились сюда?

— Явился — и все.

— Я спрашиваю, зачем явились сюда?

— Это мое личное дело.

— Слышали, а? — буркнул Иван Иванович. — Занесите в акт, что отказывается говорить, зачем пришел.

— Вы пришли, чтобы взять украденные Уйгуровой деньги?

— Товарищ младший лейтенант, Туяра ничего не украла. Вы ловите настоящих воров. — Айал посмотрел на Анну Андреевну. — Вот она стоит, настоящая воровка!

— Товарищ лейтенант! — взмолилась Анна Андреевна.

Курбатов составил акт и на Айала. Иван Иванович и Анна Андреевна подписались.

— Я не подпишу! — заявил Айал.

— И я тоже...

— Не хотите подписывать — ваше дело. Это вам не поможет. — Курбатов положил бумаги в планшет. — А теперь пойдете все в отделение. Закройте магазин.

На улице, у выхода, собрались люди. Нам предстояло пройти мимо них.

— Голову выше, — сказал Айал.

Я подняла голову. Люди молчали.

Покупатели мои... знали бы вы...

...И в отделении Курбатов не стал нас слушать. «Один раз вы ее уже оклеветали. Документ есть». Ивана Ивановича и Анну Андреевну отпустили по домам. А к нам приставили караульным пожилого милиционера. Немного погодя мы услышали знакомый голос — появилась Олимпиада Филипповна. Откуда она только узнала?

— Безобразие, вместо жуликов наших школьников ловят. Подождите, ребята, я сейчас. Где здесь начальник? Куда мне пройти? Ага, спасибо.

Нам с Айалом милиционер запретил разговаривать.

— А петь можно? — спросил Айал.

— Нельзя.

— Почему? Мы потихоньку.

— Ну, если потихоньку, пожалуй, можно, — разрешил милиционер.

Мы пропели все знакомые песни: «Лену-реку», «Я люблю тебя, жизнь», «Подмосковные вечера».

— Хорошо поете, — заметил милиционер. — За что вы сюда попали?

Айал начал рассказывать.

— Ты смотри, какие жулики! — милиционер покачал головой. — Младший лейтенант — новый работник, молодой, неопытный. Вы проситесь к начальнику. Выложите ему все. Он поймет.

— Младший лейтенант Курбатов, к капитану! — крикнули из коридора.

Подтягивая ремень, Курбатов метнулся в коридор.

Подошла, улыбаясь, Олимпиада Филипповна.

— Начальник обещал принять меры. Мы их выведем на чистую воду! Ну, я пойду, еще с одним человеком поговорить надо.

Курбатов как ошпаренный выскочил из кабинета начальника.

— Заходите, молодежь,— послышался громкий голос.

Мы с Айалом зашли.

Около стола сидел в кресле пожилой человек в очках. Это и был начальник, капитан милиции.

— У меня к вам такой вопрос. Вы жаловались в дирекцию гастронома, что продавщица Сосина завышает цены на мясо? — Капитан полез в карман и вытащил большой носовой платок.— Но проверка этого не подтверди... А-а-пчхи! — вдруг громко чихнул начальник.

— Будьте здоровы,— сказали мы с Айалом.

— Спасибо.

— Понимаете,— начала я,— когда эта комиссия ушла, Анна Андреевна достала из своей сумки две этикетки на мясо. На одной написано два рубля десять копеек, на другой — рубль семьдесят. И помахала перед моим носом.

— Да... — сказал капитан понимающе.— А кто же, по-вашему, мог ее предупредить? С кем вы говорили об этом в гастрономе?

— С директором.

— А он что?

— Он послал меня к своему заместителю Ивану Ивановичу.

— Так. И потом вы поехали с Иваном Ивановичем на Нагорную, в магазин? И там этикетка уже была заменена?

— Да...

— А Иван Иванович в гастрономе все время был вместе с вами или куда-нибудь отлучался?

— Он звонил по телефону у себя в кабинете, в торговую инспекцию, наверно, а мне велел подождать в коридоре.

— А у вас на Нагорной телефон есть?

— Есть.

— Ступайте домой,— вдруг сказал начальник,— вместе с вашим товарищем. Когда будет нужно, мы вас вызовем.

Мы с Айалом пошли ко мне домой. Только я поставила самовар, стук в дверь. Сардана, Маша, Витя, Айта, Таня, Нюргюяна... Почти весь наш класс. Шум, галдеж.

— Заходите, заходите...

— Эй, тише! — крикнул Витя.— Олимпиада Филипповна что-то такое о милиции говорила, вот мы и прибежали.

Стала я им объяснять, что и как. Потом целое обсуждение началось. Все шумят, горячатся, друг друга перебивают.

— Какая мерзавка! Я бы эту Анну Андреевну!..

— А Иван Иванович? Одна шайка.

— Безобразия просто!

— Как такая в глаза людям смотрит?

— Туяра, что же ты до сих пор молчала?

— Все вместе мы бы ее скоро поймали.

— Она нарочно не говорила,— раздался Танин голос,— одна хотела всех жуликов разоблачить.

Витя, наш комсорг, опять остановил всех:

— Не шумите так, давайте подумаем, что делать. Айал, ты что предлагаешь?

Айал почесал затылок.

— Вот как бы это сделать, чтобы люди сказали, сколько они платили в тот день за мясо.

— Чтобы они это капитану сказали. Может, пройти по домам, там, на Нагорной, поспрашивать?

— А удобно ли будет по домам ходить, не прогонят?

— А кто же прогонит, если объяснить?

— Так они тебе и помнят, сколько за мясо платили.

— Еще как помнят. Вот моя мать: ночью разбуди — сразу скажет, сколько и за что платила неделю назад.

Все засмеялись.

— А что, — продолжала Сардана, — если бы человек двадцать нашлось таких, которые помнят, — конец Анне Андреевне.

— У меня на Нагорной тетя живет, — сказала Нюргуяна, — она там всех знает, всех хозяек.

— Слушай, а ты не могла бы сейчас со своей тетей ее соседок обойти? Объяснишь людям, зачем это надо. Вспомнят, конечно. Два дня всего прошло.

— Чтоб мы могли сказать капитану, что люди помнят!

— А о мяснике-то забыли? Она его тоже обмануть хотела.

— Ну, мясника я найду, — буркнул Айал.

Я сидела, слушала их, радовалась... Что же все-таки еще сделать? И тут вспомнила: масло там у нас завезли недавно. 3 рубля 40 копеек кило. А по три семьдесят масла мало, сегодня, наверно, и кончилось.

— Значит, она опять не удержится? — догадалась Нюргуяна.

— Конечно, — ответила я. — Анна Андреевна сейчас

одна в магазине, вторая продавщица из отпуска в четверг придет. Не выдержит Анна Андреевна. Пустит это масло по три семьдесят.

— Надо будет подежурить около магазина,— сказал Витя,— но так, чтобы ее не спугнуть.

Ушли наши... Я сижу у окна, жду маму. Интересно все же: привели меня в милицию как воровку... Черт знает, чего только обо мне Анна Андреевна не наговорила... А я спокойна.

*19 апреля.*

Вчера Витя и Нюргуяна были у начальника милиции.

— Значит, вспомнили хозяйки, почему мясо покупали? Это хорошо. Спасибо вам. Вы хорошие ребята, настоящие товарищи.— И он пожал руку сначала Нюргуяне, потом Вите.

А сегодня... Нет, не зря дежурили ребята возле магазина.

После обеденного перерыва на витрине появилась новая этикетка — «Масло несоленое. 3 р. 70 к.».

У ребят на этот случай уже все было продумано. Витя остался караулить этикетку, Нюргуяна — в милицию, к капитану, а Сардана — ко мне.

Перед самым магазином нас обогнала «Волга». Из нее вышли: тот торговый инспектор Бучугасов, лейтенант Курбатов, Нюргуяна. Последним выкатился из машины Иван Иванович.

Мы все зашли в магазин.

Бучугасов направился прямо к прилавку.

— Здравствуйте, Анна Андреевна!

Увидев торгового инспектора, Анна Андреевна выро-

нила нож, которым она подцѣпляла масло, и ходу — к двери в заднюю комнату.

— Стой!

Она тут же замерла на месте.

— Что это с вами, Анна Андреевна? Я здороваюсь, а вы бежите.

— Ах, какой у вас громкий голос, товарищ Бучугасов. С испугу чуть не умерла. Ведь я сердечница...

— Ну, доведи-ка масло-то, — сказал Бучугасов.

Тут Анна Андреевна и нас всех заметила. Губы у нее задрожали.

— В какую цену масло? — спросил Бучугасов.

— Гражданин, почему мешаете работать? — Женщина, стоявшая в очереди первой, отстранила Бучугасова тыльной стороной ладони. — Вон, посмотрите на витрине, сколько стоит.

— Анна Андреевна, в какую цену это масло? — жестко спросил Бучугасов.

— Три рубля... три рубля... семьдесят... Ой!.. Три рубля, три рубля сорок. Три рубля сорок копеек за килограмм.

— Что, три сорок? Я ведь заплатила три семьдесят, и на витрине так! — закричала женщина.

— И я купил по три рубля семьдесят копеек, — донесся от дверей мужской голос. — Выходит, надули нас?

— Тихо, товарищи, сейчас мы все выясним. — Бучугасов приподнял доску прилавка, кивнул нам: — Проходите.

— А вы куда? — Иван Иванович хлопнул доской.

— Пропустите, Иван Иванович, — сказал Бучугасов. — Эти ребята должны присутствовать.

— А что это за начальство такое?

— Представители общественности.

— «Общественность»! Ой, наказанье! — Иван Иванович провел платком по лицу и шее.

Мы прошли в заднюю комнату.

— Анна Андреевна, прежде всего покажите фактуру на масло, которым сейчас торгуете, — попросил Бучугасов.

Анна Андреевна взяла папку и начала лихорадочно перебирать листы. Я заметила, что нужная бумага мелькнула в ее руках несколько раз.

— Тут за мной заехали, только в машине сказали, куда. Как на пожар! — Иван Иванович все вытирал платком шею. — Анна Андреевна, может, вы отдали фактуру в бухгалтерию? — Он не то спрашивал, не то подсказывал.

— Ах, правда... Ну да, в бухгалтерию...

— Дайте сюда. Может, я найду, — Бучугасов взял папку. — Когда приняли масло?

— Погоди, когда это? Еще давно... Которого это было? — Анна Андреевна ломала пальцы.

— Десятого апреля, — подсказала я.

Как она на меня посмотрела... До сих пор помню. Ну и взгляд! Косой, исподлобья.

Бучугасов быстро нашел фактуру.

— Вот она. Так, три рубля сорок копеек. Ну, Анна Андреевна, вы, может, объясните нам, почему продавали по завышенной цене?

Анна Андреевна закрыла глаза. Иван Иванович тяжело опустился на бочку с рыбой.

— Иван Иванович, — Бучугасов уже командовал, — закройте магазин. Снимем кассу, проведем ревизию. А вам, товарищ Курбатов, еще один акт придется составить.

Курбатов молча склонился над столом.

Уже потом я узнала от Айала, что Ивану Ивановичу тоже, наверно, не поздоровится. Капитан сказал, следствие будет.

Я стою у окна. Уже темнеет. Сумерки весенние наступают. И там, где только что зашло солнце, засветились два широких крыла — будто улетает в ночь огромная малиновая птица...

Скоро мама придет. Мама, мама... Свет зажигать не хочется. Я отошла от окна, прилегла на кровать. Не заметила, как задремала. Мне приснилась Анна Андреевна — такая, как в первый день нашего знакомства: красивая, веселая, лицо светлое... Я проснулась в слезах.

*23 апреля.*

Сегодня мы опять школьники. После уроков долго бродили с Айалом по городу. Улицы мокры, в лужицах. Тепло. Солнце. Деревья ветви раскинули, дышат. Люди идут не спеша.

— Слушай, Айал, — сказала я ему вдруг, — давай так, как будто мы совсем с тобой не знакомы. Пойдем по улице — я по этой стороне, а ты по той. Посмотрим друг на друга. А вон на том перекрестке встретимся. Хорошо?

— Хорошо, но только вдруг опять с тобой что-нибудь случится! А?

Я шагала, посматривая на Айала. Он все улыбался.

А навстречу — люди, люди. Кажется, я со многими из них знакома, чуть ли не со всеми.

Вот они идут с пакетами, с портфелями, авоськами, красными, голубыми, белыми сумками. Мои покупатели!

Я вижу ваши руки, лица, снова я слышу ваши голоса.

— Девушка, мне батон поподжаристей...

— Двести граммов сыра, не острого, нарежьте, пожалуйста...

— А мне кусочек помягче, внуку на пирожки...

Я так хочу, чтобы вам всем было хорошо!

Наверно, самый счастливый человек тот, кто приносит радость многим людям.

Я хочу быть счастливой.

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАССКАЗЫ

Девочка смеется . . . . .	7
Двое . . . . .	8
Родной алас . . . . .	19
Кремень . . . . .	21
Счастье . . . . .	33
Старуха Агдос . . . . .	37
Лиственница . . . . .	42
Твой голос . . . . .	50
«Наш!» . . . . .	52
«Жив!..» . . . . .	61
Отец и сын . . . . .	64
Когда кончается дождь . . . . .	66
Плачущая роща . . . . .	75
Соли подай! . . . . .	77
Легкое и трудное . . . . .	79
Превеликое спасибо . . . . .	81
Потому, что больно скромн . . . . .	83
«А вот так!» . . . . .	85
Савва Сатыров в лисьем воротнике . . . . .	87
Собеседники . . . . .	90

Волосяная подошва . . . . .	94
Добряк . . . . .	99
Глаз художника . . . . .	102
Самая красивая женщина . . . . .	105
Старинное предание . . . . .	106
Громко не говори... . . . . .	110
Мимолетное . . . . .	115
До чего славный вечер... . . . .	117
В прошлом году и нынче . . . . .	130
На лугу . . . . .	132
Замók . . . . .	153
Будьте счастливы, люди!.. . . .	154
Осенний вечер . . . . .	189

## ПОВЕСТЬ

В двух шагах от школы. ( <i>Дневник десятиклассницы</i> ) . . . . .	193
---	-----

*Данилов Софрон Петрович*

## ЛИСТВЕННИЦА

М., «Советский писатель», 1974, 248 стр.  
План выпуска 1974 г. № 193. Художник  
*Л. К. Макарова*. Редактор *М. Х. Паруна-*  
*кян*. Худож. редактор *Д. С. Мухин*. Техн.  
редактор *А. И. Мордовина*. Корректор  
*В. Е. Бораненкова*. Сдано в набор 28/І  
1974 г. Подписано к печати 22/V 1974 г.  
А 02219. Бумага 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> № 1. Печ. л. 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>  
(10,85). Уч.-изд. л. 9,05. Тираж 30 000 экз.  
Заказ 156. Цена 30 коп. Издательство «Со-  
ветский писатель», Москва К-9, Б. Гнезд-  
никовский пер., 10. Тульская типография  
«Союзполиграфпрома» при Государствен-  
ном комитете Совета Министров СССР по  
делам издательств, полиграфии и книж-  
ной торговли, г. Тула, проспект имени  
В. И. Ленина, 109